

0.335  
1960

ეროვნული  
ბიბლიოთეკა

8

ЛИТЕРАТУРНАЯ

ГРУЗИЦА

1960

# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

О Р Г А Н  
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ

Год издания четвертый

64.796



## СО Д Е Р Ж А Н И Е

ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ. Хвала Востоку, Паоло Яшвили. Стихи. . . . .	3
КОНСТАНТИН ЛОРДКИПАНИДЗЕ. Ког- да человек один. Рассказ. Из цикла «Калотубанцы» . . . . .	6
ГРИГОЛ АБАШИДЗЕ. Из цикла стихов о Греции . . . . .	12
✓ КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ. Бросок на юг. Повесть. . . . .	14
СЕРГО ПХАКАДЗЕ. Вражий глаз. Из книги «Сказки нашего детства». . . . .	82
К 120-летию со дня рождения	
АКАКИЙ ЦЕРЕТЕЛИ. Моя Иеремнада. Стихи. . . . .	85
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ГУРАМ АСАТИАНИ. Дружба, взаимо- обогащение... Окончание. . . . .	89

# 8

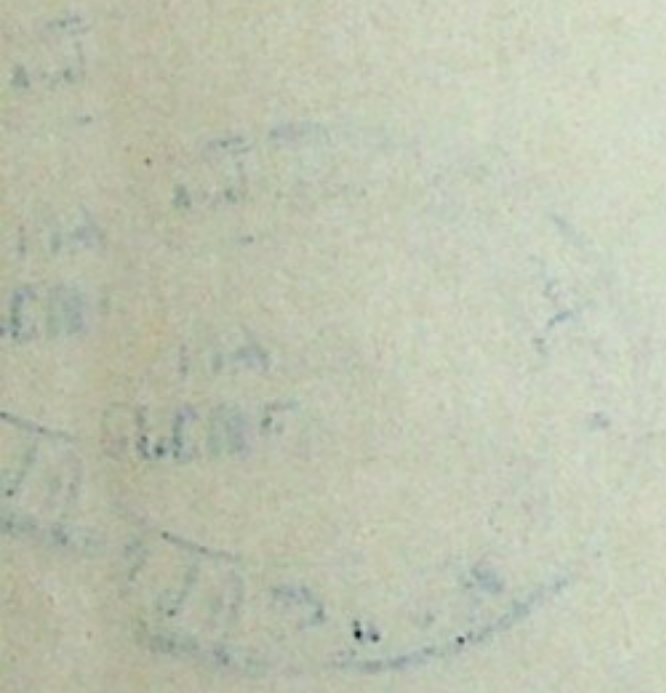
АВГУСТ  
1960



საქართველოს  
საქართველოს

საქართველოს  
საქართველოს

საქართველოს  
საქართველოს



2024.07

**Редактор К. ЛОРДКИПАНИДЗЕ**

Редакционная коллегия:

**Э. АНАНИАШВИЛИ, М. ЗАВЕРИН (ответственный секретарь),  
М. ЗЛАТКИН, А. КУЗЬМИЧЕВ, А. КУТЕЛИЯ,  
В. МАЧАВАРИАНИ, Э. ФЕЙГИН, Д. ШЕНГЕЛАЯ.**

---

Адрес редакции: Тбилиси, ул. Махарадзе, 14, тел. 3-87-88.

*Ираклий Абашидзе*

## **Хвала Востоку**

*Моим друзьям — поэтам Востока.*

Когда я вымолвлю — «Восток!» —  
Его сынов припоминаю,  
Гостями бывших в нашем крае  
И не таивших свой восторг.

И потому среди друзей  
Я отдаю им предпочтенье,  
Что в годы юности моей  
Востока видел пробужденье.

Ты потянулся вдруг, Восток,  
Своими сонными грядами  
И стены прочные расторг  
Между соседними садами.

Ты можешь первым быть в борьбе,  
Ты песни складываешь мудро,  
И я приветствую в тебе  
Едва занявшееся утро.

А старый век — он злом истек,  
Но песни мести недопеты,  
И я дожить хочу, Восток,  
До окончательной победы.

Брожу сейчас меж давних дней,  
Течение времени замедлив,  
Как будто в юности своей  
Я заплутался, не заметив.

И снова, юностью томим,  
О чудесах мечтаю стольких...  
Абдель-Керим! Абдель-Керим! —  
Горели степи на Востоке.

А за Великою стеной  
Все было пламенем залито,

Китай, поднявшийся войной,  
Терпеть не хочет Чжан Цзо-лина.

И разом треть земли отсек  
Тот год прекрасный и жестокий.  
Над миром слышалось — «Восток!»  
И отзывалось на Востоке.

Я с удивлением открыл:  
По новой мир летит орбите.  
И, как ученый, счастлив был,  
Такое сделавши открытье.

И я не знаю — почему  
Я быть не мог в те дни спокойным,  
Я тоже жил тогда в дыму,  
Я тоже был огнем и воином.

Да будет вечно счастлив тот,  
Кто в жизнь открыл дорогу бурям!  
И я стремился на Восток,  
Как мой отец стремился к бурам.

О эта жизнь! О эта страсть!  
О сердца злые перебои!  
О радость — на бегу упасть!  
О счастье — жертвовать собою!

Но, говорят, прошло сто лет...  
Да нет! Вчера все было только!  
И вот ликует красный цвет  
На флагах юного Востока.

Поднялся деревом росток,  
Пусть песни мести недопеты —  
Я доживу теперь, Восток,  
До окончательной победы!

## Паоло Яшвили

Я хотел бы радостным казаться,  
Не глядеть мучительно назад,  
Но слова не могут не сказаться,  
Если мне уже под пятьдесят.

Как забыть проклятый этот вечер?  
Я ищу спасения у слов.  
Неужели так и будет вечен  
Скорбный гул его колоколов?

Я устал, я не могу таиться.  
Сколько лет глухую боль терплю!  
О тоски туманные границы!  
Я сегодня вас переступлю.

Выстрел слышен слишком отдаленно,  
Много дум продумано с тех пор,

Как себе ты вынес потаенно  
Свой последний страшный приговор.

Чем был выстрел? Горестным побегом?  
Или высшим мужеством твоим?  
Я не стану рассуждать об этом —  
Слишком далеко мы отстоим.

Был ты весь горенье и отвага,  
Сын земной прекраснейшей земли.  
Мы, твои друзья, такого шага  
Никогда предвидеть не могли.

Ты рожден под нашим небом добрым,  
Так богато наделен добром.  
Был твой день как будто пиром долгим,  
И друзья к тебе стекались в дом.

Ты не мог и дня прожить без пенья,  
Пил вино, умел гореть, любя.  
Время шло свободно и беспечно —  
Так считали знавшие тебя.

Ты от сплетен в стороне держался,  
Сердце от дурного отвратив.  
Но скажу — а ты не обижайся:  
Никогда ты не был прозорлив.

Ты умел дарить тепло и жалость,  
Ты любил свободно, без удил —  
И тебе однажды показалось:  
Любят все, кого ты полюбил.

О наивность доброго поэта!  
Шел ко всем — лишь только позови.  
К людям шел. И ожидал за это  
От людей не злобы, а любви.

Опьяненный молодостью долгой,  
Брел по неизведанной тропе.  
И казалось, что никто не должен  
Ненависть вынашивать к тебе.

Старина в борьбу вступала с новью.  
Ты был юн. Ты жаждал юных дел.  
И с сыновней преданной любовью  
На победу юности глядел.

Нет, ты не был сломлен той борьбою.  
Никогда ты не был тронут злом.  
Я хочу поговорить с тобою,  
Посидеть за праздничным столом.

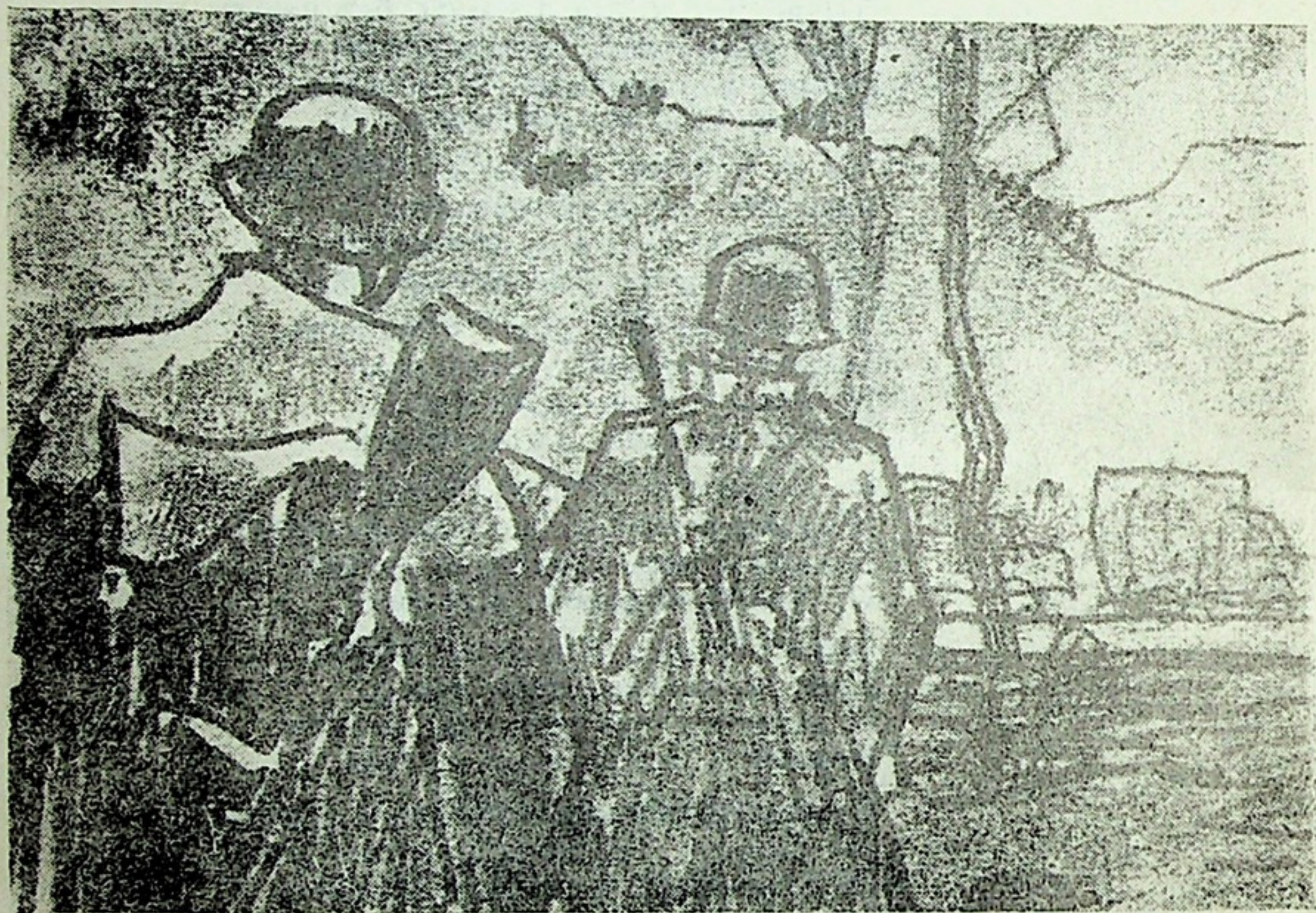
Не стихами и не тенью смутной  
Навещаешь прежние дома.  
Двадцать лет, мой беспокойный спутник,  
Ты, Паоло, словно жизнь сама!

Перевод с грузинского В. Тура

## Когда человек

Из цикла „Калотубанцы“

Перевод с грузинского Эм. Фейгина



В ранние зимние сумерки хрустнуло тонкое кружево прибрежного льда, и крутая темная волна подхватила и понесла вниз по течению легкие десантные лодки. За ними двинулись наскоро связанные тяжелые плоты, груженные пушками и тягачами. Плоты сильно кренило и заливало водой, колеса орудий сбивали колодки, скользили по бревнам, увлекая за собой насквозь промокших людей, а вода была холодная, и металл обжигал руки, словно огнем, и горная река мчалась со скоростью три-четыре метра в секунду, и немцы были почти рядом.

Саперы сделали все, чтобы войска могли скрытно переправиться на другой берег и внезапно атаковать врага.

Среди десантников находился бывший тракторист из Калотубани сапер Леван Надибаидзе.

Первая линия немецких окопов проходила в предгорье, по невысо-

ким песчаным курганам, и роте капитана Глебова, раньше других достигшей берега, нужно было совершить фланговый обход—пробиться через плавни и болотные заросли.

Под ногами тяжело вооруженных солдат ломался молодой лед, и люди по пояс проваливались в болотную воду.

Казалось, плавням не будет конца. Но вот выбрались на сушу. Зазвенела скованная морозом земля. В пустынном небе зябли одинокие звезды. И пока люди, отжимая мокрые шинели, спускались в занесенную снегом ложбину, капитан Глебов вызвал сапера Надибаидзе.

**ОДИН...**

Разговор между ними происходил в неглубоком окопчике, прикрытом рваным брезентом. Ординарец капитана электрическим фонариком освещал планшетку с картой.

— Обсушился? — спросил капитан.

— Да где тут, товарищ капитан, холод собачий, — ответил сапер.

— Ничего, сейчас жарко станет, — дружески улыбаясь, пообещал капитан, отмечая что-то на карте.

— Спасибо, товарищ капитан, а то я думал, что скоро в сосульку превращусь, — отшутился Надибаидзе, понимая, конечно, что вызвали его не для этого разговора.

— Вот, смотри, — сказал капитан, указывая острием карандаша на синий кружок. — Где-то тут, на высотке, у немцев броневой колпак Боюсь, что он нам много крови будет стоить. Надо найти его.

— Сколько времени даете?

Капитан посмотрел на часы.

— До начала атаки. Мы начнем ровно в шесть. Кого с собой возьмешь?

— Если разрешите — Дато Раинаули.

Капитан кивнул головой:

— Ну что ж, ни пуха, ни пера!

\* \* \*

Медленно отступала долгая зимняя ночь. В предрассветной полу-

мгле уже всплывали зубцы невысоких заснеженных холмов. Опаздывал Надибаидзе, и капитан Глебов перестал верить своим часам.

— Сколько на твоих? — то и дело спрашивал он телефониста.

Все правильно, часы не врут, скоро в атаку, а Надибаидзе все нет.

Кто-то отдернул край брезента и хриплым, простуженным голосом доложил:

— Тут Раинаули принесли, товарищ капитан.

Глебов быстро вышел из окопа.

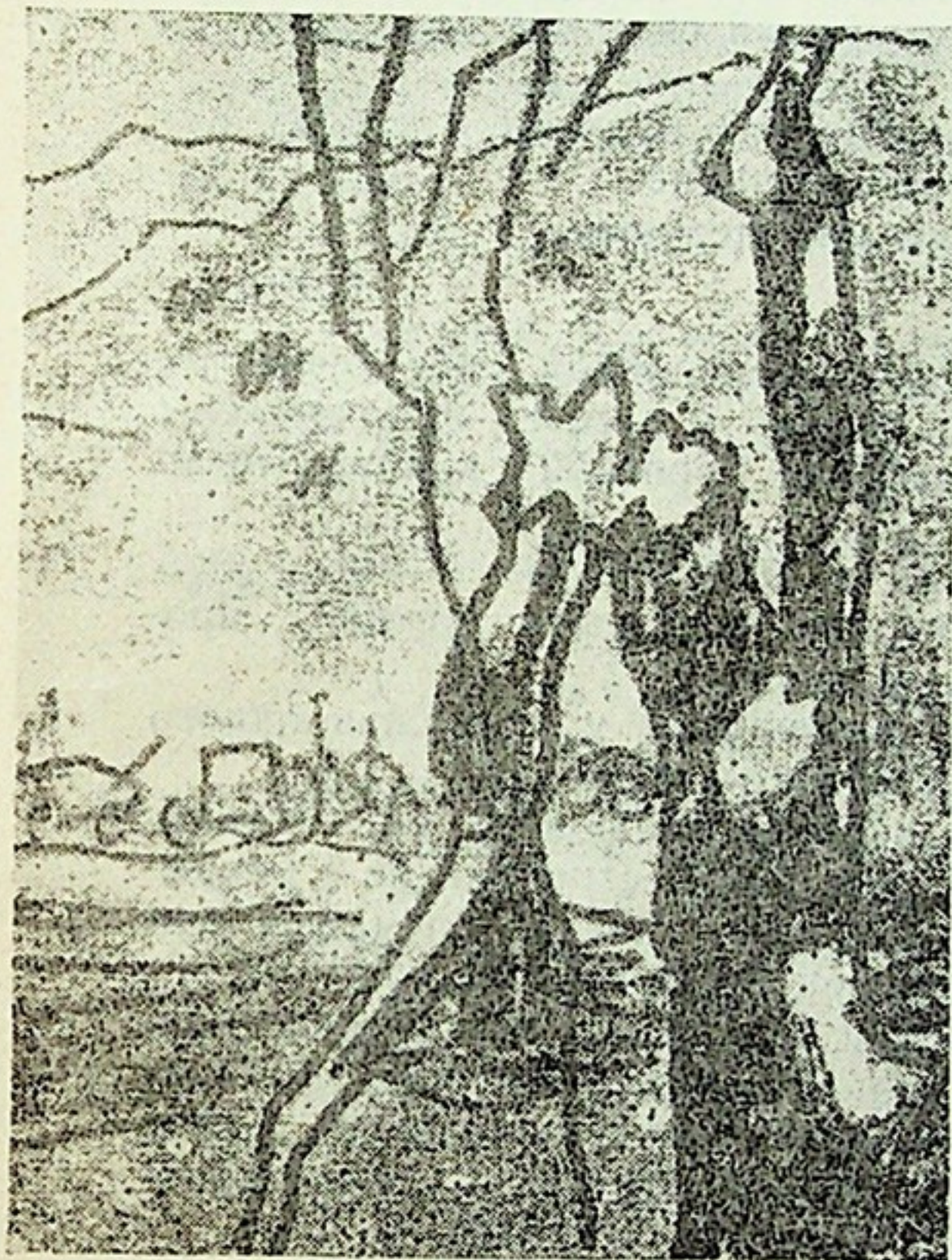
— Принесли? Он ранен?

— Ранен. Его в лощине нашли.

Раинаули лежал на окровавленной шинели, и фельдшер, который делал ему перевязку, сказал:

— Плохо парню.

— Говорить может? — спросил капитан.





— Нет. Все время без сознания.

— Кто его нашел?

— Я, товарищ капитан, — поднялся с земли мокрый от пота дой сержант. Он еще не отдышался, видно, нелегко было ему тащить грузного Раинаули.

— Он успел вам что-нибудь сказать?

— Что-то говорил... но я не понял.

— А все-таки?

— Про какую-то будку... Потом какое-то женское имя назвал, не русское, — устало докладывал сержант, но капитан уже его не слушал. Он прыгнул в окоп и выхватил у телефониста трубку.

— Я «Терек». Прошу огня. Ориентир двенадцать—три. Железнодорожная будка. Двенадцать—три. Железнодорожная будка.

У подножья одного из холмов действительно была полуразрушенная железнодорожная будка. Капитан Глебов знал об этом; и сейчас он не сомневался, что разведчики именно там обнаружили броневой колпак. Иначе зачем бы Раинаули в смертный свой час вспомнил о какой-то будке?

— Ориентир двенадцать—три! — еще раз крикнул в трубку капитан Глебов и, накинув бурку, сказал старшине:

— Надо найти Надибаидзе. Живым или мертвым.

\* \* \*

Немцы самым тщательным образом маскировали свои броневые колпаки и пользовались ими обычно только в самые напряженные моменты боя. Поэтому заранее обнаружить броневой колпак было очень трудно.

Три часа подряд ползли разведчики по обледенелым склонам холмов, продираясь сквозь колючий кустарник, до смерти устали, продрогли, но в конце концов добились своего.

Прощупывая вражескую оборону, разведчики у подножья одного из курганов внезапно подверглись пулеметному обстрелу.

Леван и Дато укрылись в канаве и стали наблюдать. По глуховатому звуку выстрелов они догадались, что немцы стреляли не с открытого места. Значит, недалеко опасное огневое гнездо. Случайно они оказались так близко от него, что гарнизон броневого колпака, не разобравшись что и как, открыл стрельбу и тем самым обнаружил себя.

Теперь разведчики точно знали, где находится броневой колпак: немцы хитро упрятали его под развалинами железнодорожной будки.

Запасливый Раинаули достал флягу, друзья отпили по глотку крепкой, как огонь, кахетинской водки и поспешили к своим.

Впереди шел Надибаидзе. Вдруг под ногами у него раздался короткий приглушенный щелчок, и раньше, чем разум успел определить, что случилось, Леван плотью своей почуял — это мина. «Я наступил на прыгающую мину. Сейчас она выскочит из земли и взорвется».

Надибаидзе отпрянул в сторону, крикнул Раинаули: «Ложись!». И падая на землю, успел увидеть, как что-то стремительно вырвалось из-под снега. Раздался взрыв.

Надибаидзе сильно трянуло. Но и только. Даже не оцарапало.

Придя в себя, он услышал глубокий вздох, похожий на стон.

— Ты что, Дато, ранен? — спросил он, подползая к товарищу.

— Кажется, плечо задело.

— Сейчас перевяжу.

— Вовремя ты меня предупредил, Леван. С ней шутки плохи, с этой прыгающей смертью. Человека в решето превращает. И пляшет, проклятая, словно лягушка перед дождем. Терпеть не могу.

Он еще пытался шутить, Раинаули, но пока Леван перевязывал ему плечо, парень в кровь искусал губы. Было очень больно.

— Полежи немного, отдохни, а я посмотрю, что тут делается, — сказал Леван и, поправив наушники миноискателя, стал осторожно спускаться по склону.

Тихо скрипел недавно выпавший снежок. На холмах у немцев было спокойно. Только время от времени в небо взлетали ослепительные ракеты, и, чтобы немного развлечь себя и подбодрить, часовые постреливали из автоматов.

Миноискатель молчал, и у Левана несколько отлегло от сердца. «Похоже, что случайная мина. Бывает, начнут минировать и бросят», — подумал Леван, но все же спокойствие не пришло к нему.

Он спустился к подножью холма, и тут неожиданно в мерное гудение, которое все время слышалось в наушниках, ворвался знакомый визг. И слева. И справа. И спереди... Повсюду мины... Очевидно, наши саперы не доглядели это препятствие, не все проходы очистили. А может, свежая «посадка» немцев. Но как бы там ни было, надо отсюда немедленно убрать мины. Пока не началась атака.

Леван вернулся к товарищу. Раинаули сдержанно стонал и жадно ел снег.

— Пить хочешь? — спросил Леван, протягивая ему свою флягу с водой.

— Умираю, как хочу. Но, говорят, раненым нельзя давать воду.

— А ты пей, сколько хочешь, — рассмеялся Леван, — тебе не опасно. Вот когда в живот ранят — тогда нельзя.

Он подождал, пока Раинаули напился.

— Внизу этих «лягушек» полным-полно, — сообщил он невеселую новость.

— Я так и думал.

— У них эти «лягушки» в одиночку не ходят.

— Ну что ж! Идем за людьми, — сказал Раинаули.

Надибаидзе посмотрел на часы: «Не успеем».

— Плечо очень болит, Дато?

— Обо мне не беспокойся. Как-нибудь доберемся.

Леван вздохнул и покачал головой.

— Нет, Дато. Пойдешь ты один. И ты должен во что бы то ни стало дойти. Скажешь капитану — колпак в развалинах будки.

Расстаться? Сейчас?.. Раинаули вдруг испугался и за себя и за Левана.

— Другого выхода нет? — спросил он.

— Думаю, что нет. Иди, Дато. Не будем терять времени.

Надибаидзе понимал, насколько ответственно его решение. Но он верил своему земляку Раинаули, да и надеялся на себя, на свой опыт, сноровку, на все то, что дали ему двадцать месяцев войны. Правда, обстановка сейчас сложная, но зато немец разбросал здесь мины наспех, не по очень хитрому плану.

Он вывел Раинаули за минное поле.

— Давай поменяемся флягами, — неожиданно предложил на прощание Дато.

— Эх, жалеешь ты меня, братец, — с укоризной проговорил Надибаидзе..

— Да, нет... Я в ходьбе и так согреюсь, а тебе тут до рассвета копать в этом «дьявольском огороде». Озябнешь, и моя водочка пригодится.

Они обменялись флягами и расстались, чтобы уже никогда больше не встретиться.



Первую мину Леван нашел сразу. Он осторожно разгреб снег и землю и, когда обнаружили все три усика «лягушки», извлек запал.

Нелегко это делать ночью, на ощупь, одеревеневшими от холода пальцами. Но точность каждого движения Левана была доведена до предела.

Около часа он работал без всяких помех, только замерзли ноги. Хорошо бы поверх портянок навернуть бумагу, да где ее сейчас достанешь.

Ровно в шесть ударили наши орудия. Два снаряда один за другим разорвались возле железнодорожной будки. «Молодец, Дато», — подумал Леван.

Небо на востоке побелело. Что это? Светает? А может это отражение снега? Хотя бы на полчаса еще продлилась ночь.

Канонада то утихала, то усиливалась, и когда били по ближним холмам, Леван чувствовал, как дрожит под ним промерзшая земля. Доверяя своим батарейцам, он спокойно продолжал работать.

Со стороны реки подул пронзительный ветер. У Левана перехватило дыхание. Ледяной воздух буквально буравил легкие.

Наступило мгновение, когда пальцы Левана настолько заочене-ли, что потеряли всякую гибкость и перестали его слушаться. Он понял, что может сорваться. И, как Леван ни дорожил временем, он все же спустился в старый полузасыпанный окопчик и принялся растирать пальцы, щеки и уши.

Но вот прогремели последние, самые оглушительные залпы, и затем разрывы стали уходить за холмы, в глубину немецкой обороны.

Из лощины выкатили орудие прямой наводки.

«Значит, скоро наши пойдут», — подумал Леван. Он заторопился. Осталось еще обезвредить мин десять-двенадцать. Он выбрался из окопа и только включил миноискатель, как осколок снаряда просвистел у самого уха. Леван припал к земле. Над его головой, шурша, как листва в осеннем лесу, летели потерявшие силу осколки.

«Да-а, сейчас я попался, — коротко вздохнул он. — Того и гляди, свои же накроют».

Леван повернулся и быстро пополз в укрытие, которое только что покинул.

А что ему еще оставалось?

Видит бог, он сделал все, что было под силу одному человеку. Сейчас надо уходить из этого смертельного круга. Дико и нелепо погибнуть от снаряда, отлитого на Урале.

«Нужно уходить! Любой человек на моем месте поступил бы так же. И Раинаули, и Алексеев, и даже капитан Глебов не задержались бы здесь. Кому нужна слепая игра со смертью», — убеждал себя Надибаидзе.

Он почти уже вышел из-под обстрела, и до желанного убежища было рукой подать, когда вдруг с незлобивой усмешкой подумал:

«Если ты прав, парень, то почему же так рьяно споришь с самим собой? Через полчаса здесь будет твоя рота. И сколько напрасной крови прольется, коли не убрать оставшиеся мины».

Перед этой простой мыслью сразу отступили все другие, и Левану стало не по себе, словно он уже совершил что-то постыдное.

Однажды в Донбассе, в первые месяцы войны с ним случилось нечто подобное. Саперы тогда возвращались с работы и, проходя по деревенской улице, попросили у женщин холодной воды. Гостеприим-

ные степнячки вынесли солдатам воды и яблок. Кто-то принес в макитре холодную простоквашу. Разговорились, саперы угостили ребятшек сахаром и собрались было идти дальше, как вдруг налетели на деревушку немецкие самолеты. Все, кто был в это время на улице: и женщины, и дети, и солдаты — бросились в укрытие.

Побежал и Леван. Он чуть было не расшиб себе лоб о притолоку низкой двери, и когда огляделся, то увидел, что в землянке никого нет. Люди еще бежали по улице — Леван слышал топот многих ног, а он уже был в безопасности, под тремя мощными накатами, и, прислонившись к сырой, прохладной стене, никак не мог понять, каким это образом он опередил всех и первым оказался в убежище.

Ему стало очень стыдно. «Быстро ты бегаешь, парень! Откуда такая заячья прыть?» — подумал Леван и тотчас вышел из землянки. На деревню уже падали бомбы, но он переждал, пока все, кто бежал по улице вместе с ним, не укрылись в землянке.

На людях и смерть красна. Поэтому он сравнительно легко преодолел тогда недостойную мужчины слабость.

А сейчас он один.

Один, затерянный в непроглядной ночи. И ни одна живая душа не увидит, как ты вел себя на этом недобром поле, никто никогда не узнает, сделал ты или не сделал все, что положено было сделать. Никто никогда не узнает, никто ни в чем не упрекнет тебя.

Но эта мысль не принесла ему облегчения.

Да, конечно, никто не увидит. Но ты сам, твоя совесть — что она тебе скажет?!

Отец Левана, Захарий Надибаидзе, многое прощал людям, даже с отпетым пьяницей и лентяем, бывало, постоит на улице и поговорит по-человечески. Но вот лжецу на самый низкий поклон не ответит. Ни за что!

«Лжецы на все способны, — говорил он своим детям. — Только что! Ложью свет пройдешь, да назад не вернешься».

— Не бойся, отец! Я не забыл твоих слов, — вдруг громко сказал Леван, будто старый Надибаидзе и впрямь мог его услышать.

Кончен спор!

Леван включил миноискатель и, затянув потуже ремешок каски, медленно пополз к минному полю.

Повалил густой мокрый снег, и немного потеплело. Снаряды стали падать все ближе и ближе, и в лицо сапера подул горячий удушливый ветер — взрывная волна докатилась до него.

Но Леван действовал сейчас так, словно был не один, а жил и думал на виду у всего мира.

\* \* \*

Я нашел Левана Надибаидзе через несколько дней в армейском госпитале в станице Голубевской.

Он не помнил, как его ранило тогда на минном поле. И успел ли он завершить свою работу — этого он тоже не помнил. Но когда я сказал ему, что никто из роты не подорвался на минах, Леван так благодарно мне улыбнулся, словно не он, а я, который с трудом отличал мину от консервной банки, расчистил тот «дьявольский огород».



Григол Абашидзе

## Из цикла стихов о Греции

Манолис Глезос

Акрополь! В камне твоём священном  
Эллады запечатлена душа.  
Вечно стоять этим древним стенам,  
Порывами бурь глубоко дыша.

Акрополь! Колокол каменно-белый!  
Когда на Элладу падала мгла,  
Ты звал на борьбу, и во все пределы  
Гудели незримые колокола.

Купол, как голову, гордо вскинув,  
Смотрел презирающе, свысока,  
Сперва на турок и на сарацинов,  
Потом на тевтонского паука.

И вот вчера лишь, как встарь когда-то,  
Костров зажженных багровый шквал  
На башни Греции взмыл крылато,  
Мрак над Акрополем разорвал.

Манолис Глезос! Сегодня снова  
Мрак тщится отчизну твою сковать.  
Но не руины, не сон былого,  
Живой Акрополь зовет опять.

Сегодня снова, ночной порою,  
Вперяя огненный взгляд во тьму,  
Живой Акрополь зовет героя,  
Взывает к знамени твоему.

Эллада!  
Сон мой!  
Вдоль и поперек  
В мечтах  
Я обошел тебя,  
Эллада.  
Цветов бессмертных  
Жгучий свет сберег  
В глубинах сердца, разума и взгляда.

Во мне  
Волненье моря твоего  
Волненьем отзывалось,  
И сквозь тучи  
Из купола небесного  
Певуче  
Лазурь текла,  
Струилось волшебство.

И вот сегодня,  
Наяву,  
Впервые,  
В дороге, мимолетом, с высоты  
Возникли предо мной  
Твой  
Живые,  
По давним снам знакомые черты.

Гляжу, немея,  
Из небесной дали  
В простор полей,  
В столпотворенье скал,  
На землю ту,  
Где Музы обитали,  
На землю ту,  
Где трон богов стоял.

В лицо мне дышит  
Мрамор твой,  
Эллада!  
Клянусь,  
Что после этого всего  
Не надо лиру трогать  
И не надо  
На свете жить...  
Не надо ничего.

Перевод с грузинского А. Межирова



*Константин Паустовский*

## Бросок на юг

ПОВЕСТЬ

КОРОТКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

Эта книга — пятая по счету из автобиографического цикла «Повесть о жизни». В ней мне пришлось по «ходу пьесы» отойти от России и перенести действие на крайний юг — на Кавказ, в Закавказье.

Снова я попал в края, где только что установилась Советская власть. Так случилось, что все время я с большими пере-

рывами догонял движение революции на юг. По этой причине ее развитие представляло для меня не прямую линию, а причудливые петли и возвраты. Пережитое год назад возвращалось, но в ином виде и с разными добавочными событиями.

Я оторвался от России почти на два года. Но не жалею об этом: я многое за это время узнал.

Событий и людей в книге много, но все же гораздо меньше, чем было в действительности.

По довольно разумным законам драматургии, пьесы обычно делятся на несколько точных частей.

В начале — экспозиция, то есть введение читателя и зрителя в круг людей, событий и пейзажа. Затем — развитие действия, после чего наступает кульминация — высший подъем, взрыв, самая напряженная

Пятая книга полностью будет опубликована в журнале «Октябрь».

часть пьесы. Тогда зрители начинают волноваться, привстают в креслах и даже вскрикивают.

В кино типичнейший пример кульминации — это погоня. Эти безумно скачущие всадники (чтобы убить врага или спасти любимую девушку) обошли мирной, в особенности юной части человечества, довольно дорого и истрепали уйму нервов.

К сожалению, мы не знаем, как измеряется истрепанность нервов. В наш нервический век наука еще не дошла до того, чтобы найти способы этого измерения.

Подлинная жизнь, описанная мною, как это ни кажется странным, сама по себе сложилась в те годы по законам драматургии.

Первая книга («Далекие годы») может быть названа экспозицией, неторопливым введением к повествованию. Вторая («Беспокойная юность») дает развитие действия; третья и четвертая («Начало неведомого века» и «Время больших ожиданий») соответствуют наибольшему напряжению в жизни автора, а пятая («Бросок на юг») приносит с собой некоторую разрядку. Это всегда происходит и в пьесах. Драматург делает эту разрядку, чтобы зритель немного отдохнул. А затем подходит закономерный конец.

Здесь сама жизнь устроила разрядку, некоторое отступление от основной темы, перенеся автора на Кавказ с его пестротой событий, людей и природы и, кроме того, наполнив жизнь южным жизнелюбием и непобедимым юмором. На юге он не иссякает ни при каких обстоятельствах и не отступает ни перед чем.

\* \* \*

Для меня все в Абхазии было тогда чужим — и горы, и реки, и растительность, и народ.

Огромные горные вершины — их имен я еще не знал — отчетливее всего выделялись на закатах. Их ледяные зубцы тлели густым угольным жаром заходящего солнца.

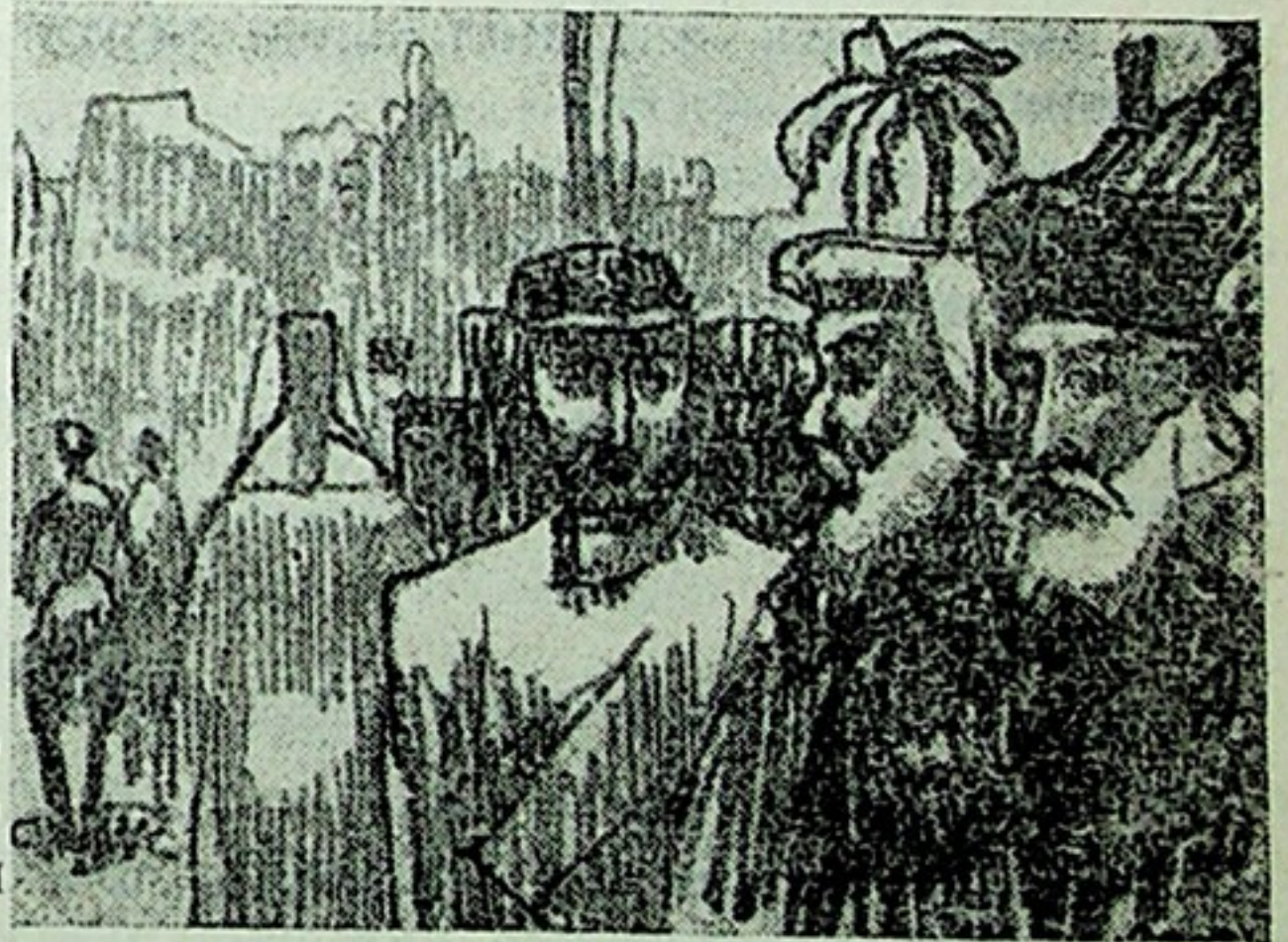
Первое время мне с непривычки казалось, что исполинские эти хребты медленно двигаются с северо-запада на юго-восток, как бесконечная вращающаяся панорама.

Чтобы избавиться от этого ощущения, я взглядывал на что-нибудь вблизи себя: на дома, на камни под ногами, — тогда горы вдруг останавливались.

Это первое, даже несколько злое впечатление от гор прошло только весной, когда я попал в глубь Абхазии и увидел горы во всей силе буковых лесов, в кипении пенистых голубоватых рек, в размахе растительности.

У меня в Сухуме не было знакомых, и я часто бродил по окрестностям города один. Отходить далеко я не решался.

По словам старожил, в десяти километрах уже начинался встревоженный войной и междоусобицей Кавказ. На любом повороте горной дороги можно было получить пулю в спину или погибнуть под внезапным обвалом.





Успокоение приходило на Кавказ медленно, исподволь, только приходом Советской власти.

Поэтому дальше реки Келасуры, впадавшей в море в пяти метрах от города, я не ходил. Но и эта река была полна загадок.

На поворотах Келасура намывала маленькие песчаные косы. Они горели под солнцем, как золотой песок.

В первый раз, попав на Келасуру, я намыл из этого берегового песка горсть темно-зеленых чешуек — веселых и невесомых. Но через час они почернели и стали похожи на железные опилки.

В Сухуме мне объяснили, что это не золото, а серный колчедан. Но все же я его не выбросил, а высыпал горкой на подоконник. Я наивно надеялся, что под лучами солнца колчедан снова начнет излучать золотой блеск. Но этого не случилось.



Растительность тоже была загадочной—и древняя, существовавшая в Абхазии тысячи лет, и новая, пересаженная из Японии, Италии, Индии, Полинезии и других стран. Первыми на сухумском берегу развели эту заморскую растительность ученые-ботаники и местные плантаторы-садоводы.

Растительность поражала головокружительными запахами, причудливыми формами и громадными размерами.

За домом мадмуазель Жалю—последним домом в городе на горе Чернявского—стояли заросли высоких и душистых

азалий. В этих зарослях прятались шакалы. От запаха азалий болела голова.

Позади этих азалиевых полей темнела стена лакированной бамбуковой рощи. При малейшем ветре листья бамбука не шумели, как наша северная листва, а перешептывались. Если же ветер усиливался, то листья извивались, как маленькие змейки, и тихо свистели—тоже, как маленькие злые змейки.

И абхазцы казались загадочными. Большей частью это были люди сухощавые и клекочущие, как орлы. Они почти не слезали с седел. Конни, такие же сухощавые, как и люди, несли их, перебирая тонкими ногами.

Почти у всех абхазцев были профили, достойные, чтобы их отлить из бронзы.

## ДВОЯКИЙ СМЫСЛ СЛОВА «ЛЕГЕНДА»

У слова «легенда» — двойкий смысл.

Это или поэтическое народное предание (большей частью псевдо-народное) или объяснение разных условных знаков на географической карте.

С детства я любил географические карты и планы и с детства же недоверчиво относился к легендарным преданиям. Особенно к восточным. Они казались мне бутафорскими.

Может быть, эта неприязнь появилась после чтения путеводителей, где всегда рассказывалось много скучных и неестественных легенд чуть ли не о каждой пещере, скале, роднике и могиле.

Вообще же, если отбросить этот недостаток, то путеводители — увлекательные книги. Почти нет людей, которые не любили бы их читать. Еще в юности для меня и для подростков в таком же роде, как и я, каждый путеводитель был как бы бесплатным путешествием в интересные страны. Каждый путеводитель давал множество толчков нашему воображению.

Никак нельзя было догадаться, в какие происшествия могло нас завести сухое сообщение путеводителя о том, сколько стоит поездка на извозчике по Лиссабону и нужно ли торговаться на рынке в Бриндизи.

Так вот... Узнав, сколько берет извозчик в Лиссабоне, у вас тотчас возникает желание нанять его и проехать по старым улицам города, политым водой, к пышному собору, а потом — в порт. Там вы невзначай увидите, как ветер с океана сорвет зеленую шаль с красивой женщины, тонкой, как лилия, — я не настаиваю на этом сравнении, — и унесет эту шаль в море. А женщина, смеясь, прижмет ладонями к вискам свои черные глянцевитые волосы, чтобы их не растрепывал ветер.

Это была захватывающая и вместе с тем трудная игра — путешествия по путеводителю. Она вся была построена на воображении. Вначале она приносила радость, а потом разочарование. Причина этого разочарования заключалась в разбуженном путеводителями желании невозможного.

Но все же будьте милостивы к воображению! Не избегайте его. Не преследуйте, не одергивайте и, прежде всего, не стесняйтесь его, как бедного родственника. Это тот нищий, что прячет несметные сокровища Голконды.

Легенды (фольклорные) давно уже олицетворяются для меня с гидами. Временами мне кажется, что эти легенды специально выдуманы на потребу гидам для того, чтобы занимать болтовней туристов.

В одинаковых белых войлочных шляпах, обшитых ленточками с помпончиками, с одинаковыми кизилowymi палками-рогатками, где выжжена надпись «Память о Сочи» или «Привет из Симеиза», в пыльных тапочках туристы ходят потными толпами среди всяких достопримечательностей и стараются запомнить побольше легенд.

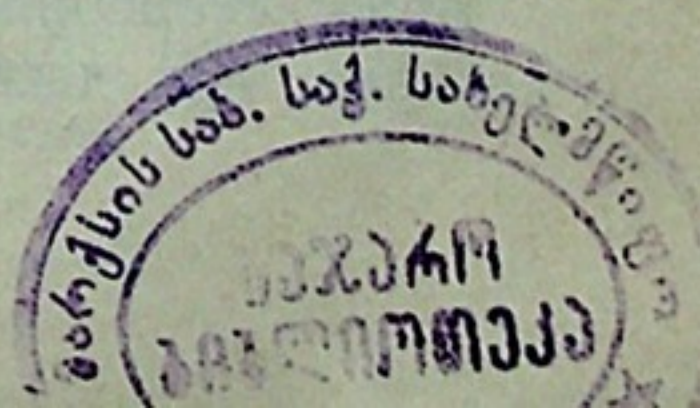
Рюкзаки у туристов набиты сувенирами, главным образом открытками и рамками для фотографий, обклеенными морскими ракушками.

Вместо этих ракушек туристы привозят домой слоистую перламутровую труху и смутные впечатления. Но это не останавливает их в упорном рвении все осмотреть «по плану», ничего толком не увидев как следует и ничего как следует не узнав.

Я — за туризм, но без пошлости, которая его так часто окружает.

Опять я нарушил последовательность повествования. В этом виновата моя непокорная память. Прошу прощения и возвращаюсь вспять, чтобы оттуда снова двинуться вперед. Возвращаюсь к географическим картам с их скупыми на слова объяснениями — «легендами». Вернее, я возвращаюсь к «легенде» Сухума, к его топографическому очерку, но буду упоминать только о тех местах, что так или иначе сыграют роль в дальнейшем рассказе.

Отправной точкой топографического описания я беру дом и сад мадмуазель Генриетты Францевны Жалю, где я жил в то время в Сухуме.



64.796

Я располагаю описание по радиусам, убегающим от этого низкого дома и маленького сада. Там рос у меня под окном добродушный банан со слоновыми нежно-зелеными ушами.

Но прежде чем перейти к этому описанию, я скажу несколько слов о том, как я остался в Сухуме.

Пока «Пестель» не отвалил из Сухума в Потю, я ушел из предосторожности подальше от набережной. Мне мерещилось, что меня обязательно поймут и вышлют из Сухума.

Так я добрал до горы Чернявского, а на ней — до последнего уединенного дома Генриетты Жалю.

Старушка, несмотря на полное отсутствие у меня каких бы то ни было вещей, охотно сдала мне комнату. По стенам ее бегали мохнатые сороконожки.

Вечером, когда опасность прошла, я решил спуститься в город, чтобы поужинать в духане. Там на липких от лилового вина дощатых полах бравурно отплясывал лезгинку тощий маленький старик в толстых очках и в слишком длинной для него серой черкеске.

Его приятели, сидя за столиком, снисходительно хлопали в ладоши, а духанщик щелкал на счетах, не обращая никакого внимания на добросовестно веселящегося старика.

Старик, окончив танцевать, пригласил меня к своему столику. Он сразу узнал во мне приезжего. Вопреки моему предположению, старик был совершенно трезв и не имел никакого отношения к абхазцам или к каким-либо другим горским народам. Он оказался тифлисским евреем по фамилии Рывкин. Он служил в Сухуме в Союзе кооперативов Абхазии — Абсоюзе — и просто любил в свободное время потанцевать лезгинку.

Он тут же пригласил меня к себе в Абсоюз вести деловую переписку. Вообще в Сухуме мне чертовски повезло.

Но вернемся к топографии.

Посреди сада у Генриетты Францевны была устроена на уровне земли глубокая цементная цистерна для дождевой воды. Воды от весенних дождей Генриетте Францевне хватало почти до осени. Вокруг цистерны росли пальмы с мощными опахалами.

Рядом с усадьбой Генриетты была небольшая поляна, покрытая желтым и лиловым бессмертником. Изредка по поляне проползали змеи.

По другую сторону поляны стоял мингрельский дом на сваях с длинной дощатой террасой. Двери и окна в этом доме были крест-накрест заколочены тесом, а вокруг разрослись такие дебри лавровишен и терновника, что подойти к дому было почти невозможно.

Позади дома шли заросли азалий. Там весь день наигрывали на дудках, как оркестр зурначей, недовольные шмели.

За этими зарослями лежала в разноцветном дыму, в бросках солнечного света, мгновенно перелетавшего (вместе с тенью от туч) через горные вершины и бездонные пропасти, в изломанном блеске глетчеров, в трепещущей листве, в клубящихся взрывах белых облачных громад над вершинами Большого Кавказа та загадочная, зовущая и пугающая страна, где погиб Одоевский, где дрался под зеленым знаменем пророка Шамиль, где был убит Бестужев-Марлинский, где насмешливо тосковал Лермонтов.

Временами мне казалось, что я вижу все это.

Вижу «серебряный венец» неприступных гор, «престолы природы, с которых, как дым, улетают багровые тучи». Все это было сказано



Лермонтовым в полном соответствии с его томительной любовью и тоской, а через семьдесят лет другой поэт сказал о Лермонтове слова, похожие на рыдание:

В томленьи твоём исступленном  
Тоска небывалой весны  
Горит мне лучом отдаленным  
И стелется песней зурны...

Там, на горе Чернявского, я чувствовал себя по временам среди немирного лермонтовского Кавказа. Вернее, мне хотелось так себя чувствовать. И жизнь, по своей дурной привычке потворствовать мечтателям, щедро награждала меня чертами этого старинного Кавказа.

Невдалеке за домом Генриетты я наткнулся на обтесанный продолговатый камень. Он был так густо покрыт желтыми лишаями, что надпись, некогда выбитую на этом камне, нельзя было уже прочесть... Может быть, здесь был похоронен Одоевский? Или это была могила неизвестного стрелка? Кто мог это знать?

Во всяком случае, появился повод для того, чтобы приносить на эту могилу цветы (их расклевывали и уносили птицы), сидеть на сырой земле, облокотившись на камень, и смотреть, как у тебя на ладони тревожно и быстро дышит только что пойманная крошечная ящерица.

Несколько раз с гор приходила гроза. Она с наглым треском разрывала молниями черное небо. Она катила перед собой, как мутный вал, гряды желтых туч.

Смерчи гигантскими волчками завивались над морем, изгибались, и, будто споткнувшись, внезапно падали всей тяжестью на поверхность воды. Тогда море кипело.

Ревя, мчались по лощинам водопады, ворочая глыбами камней. Чернела и свирепела морская даль. Косые струи ливня вытягивались по ветру, почти не касаясь земли. И вдруг неожиданно вспыхивал, как взрыв, мокрый и горячий солнечный свет. Тогда несколько радуг, упираясь в устои гор, плавно подымали к небу мириады мельчайших водяных искр. Гроза кончалась.

После гроз над Сухумом повисал удушливый пар. Генриетта Францевна закрывала окна. Она говорила, что в этих горячих испарениях размножаются невидимые миазмы. Их было так много, что становилось трудно дышать.

Миазмы, по словам Генриетты, вызывали малярию, сердечную слабость и ломоту в костях.

Было так душно, что обильный пот выступал на всем, что могло осаждать влагу. Все было мокрым и блестело, как только что вынутое из воды, — листья, заборы, скалы и черепичные крыши. Пот струями стекал с волос за шиворот и лился с пальмовых листьев, как из маленьких водосточных труб.

После одной из таких гроз я впервые испытал жестокое удушье, когда кажется, что легкие залиты свинцом. То были первые признаки астмы — безжалостной болезни, заставляющей человека дышать в четверть дыхания, говорить в четверть голоса, ходить в четверть шага, думать в четверть мысли и только задышаться в полную силу, без четвертей.

Сейчас, по прошествии многих лет, я хочу точно записать первые свои впечатления о Кавказе и Сухуме. Но я вижу, перечитывая записанное, что эти впечатления торопливы и не очень связаны друг с другом, хотя и не лишены единого ощущения места и времени.

Объясняется это, очевидно, тем недолгим и странным ослаблением чувства реальности, какое завладело мною в начале сухумской жизни.

Слишком велик был разрыв между голодным и обледененным побережьем Черного моря и этой щедрой по своей природе страной, пропахшей цветами мимозы.

Она была щедрой и непонятной. Здесь веками сложился удивительный быт. Страна была закована в него, как в кольчугу.

Все здесь казалось странным.

Когда князь Шервашидзе входил в духан, посетители по привычке вставали. Учитель и писатель Дмитрий Гулиа — просветитель Абхазии — создал абхазскую письменность и открыл первый передвижной театр на арбах. Советских денег еще не было. Ходили по рукам затертые турецкие лиры.

Шотландский пароход пришел за сухумским табаком и оставил взамен бочки с атлантической сельдью. После него пришел японский пароход и привез уйму риса и тростникового сахара. Поэтому вместо заработной платы служащим выдавали только товары или продукты. Каждые два дня давали в придачу ведро превосходного вина и пачку драгоценного табака «требизонд». В чистом виде «требизонд» курить было нельзя: он был слишком крепок и дорог. Его только добавляли для вкуса к обыкновенным табакам.

На базаре продавали за рубль горных медвежат и связки окаменелых московских баранок, изготовленных, должно быть, еще до революции. Стоили баранки баснословных денег.

Побеги бамбука проламывали мостовые. За одну ночь они вытягивались на метр, а то и больше.

В Сухуме не было никаких внешних следов войны. Страна стояла такая же нетронутая, как и полвека назад.

Одной из неожиданных для здешнего края примет недавней войны была книга Анри Барбюса «Огонь», попавшая каким-то чудом в Сухум.

Первый экземпляр этой книги оказался у Рывкина. Я тотчас же отобрал у него эту книгу. Рывкин не оказал ни малейшего сопротивления.

Я читал эту крепкую, как солдатский шаг, мужественную и человечную повесть Барбюса у себя в саду, в тени от банана. Изредка я подымал глаза, и мне нужно было какое-то время, чтобы сообразить, что я нахожусь не на полях Шампани или в Арденнах, где в залитых ливнем обваленных окопах тесно смешались обе армии — и французская и немецкая, солдаты тонули в грязи. Мне нужно было время, чтобы перенестись с полей Франции в этот нарядный от света и опьяняюще пахнувший край.

В такие минуты он казался мне особенно чуждым — лакированным и одновременно тоскливым.

С некоторых пор у меня появилось неприятное ощущение, что этот край чем-то грозит мне. Угрозу эту я почему-то особенно ясно чувствовал во время закагов. Тогда в жаркую духоту впивались, как острые когти, струйки холодного воздуха и вызывали легкий озноб.

Я восторгался книгой Барбюса, особенно последними страницами, где приросшие к земле солдаты говорят о великой справедливости. Имя Либкнехта неожиданно всплывает в разговоре как реальная и близкая надежда на пришествие новых времен.

Каждый раз, доходя до этого места, я испытывал глухое волнение и почему-то начинал думать о себе: двигаюсь ли я вперед или погружаюсь в оцепенение. Судя по тому, что я сам задавал себе этот вопрос, я был еще жив. Это меня успокаивало.



За границей маленькой Абхазской республики с ее тяжелым сырым воздухом и сплошными зарослями незнакомой растительности шла громкая и интересная жизнь. Но в газетке, похожей на афишу заезжего фокусника, жизнь эта отражалась только в двух-трех коротких заметках.

Мне казалось, что я гложу от разраставшихся на глазах тропических джунглей и слепну от белого солнца. Оно затопило навсегда морской простор за моим окном.

Вскоре у меня началась малярия. Она трясла меня каждые пять дней. Тело пахло уксусом. От хины шумела голова, синели руки и трескались ногти.

После малярийного приступа с его беспощадным ознобом и предсмертным кружением сердца оставалась такая вязкая слабость, что мне было трудно вытянуть руку.

Меня мучили длинные и однообразные сны. Они обрывались на одном и том же месте и тут же начинались снова с неумолимой последовательностью.

Я знал все, что сейчас произойдет во сне. Знал, что в самом важном месте он прервется, и я буду долго ждать, пока он снова придет ко мне и начнет повторять все одни и те же, но каждый раз все более тусклые свои картины.

Бывало, я стонал ночью, пытаюсь прогнать сны, но никто никогда не отзывался на мои стоны. Мадмуазель Жалю помещалась в маленьком низком флигеле во дворе и не могла меня услышать, а две соседние комнаты пустовали.

Мадмуазель Жалю считала малярию не болезнью, а одержимостью. Она говорила, что малярики живут в своем странном мире и для них нет никаких тайн.

Я пытался записывать эти сны, но тут же бросил. Но года три назад, роюсь в старых рукописях, я нашел узкие полоски бумаги, покрытые рыжими строчками, будто человек вместо чернил писал черным кофе.

На этих полосках и были записаны тогдашние сны. Но ни один из них не был доведен до конца.

Вся запись состояла из отрывочных фраз. Но в общем она давала какое-то представление о сне.

Вот эти записи. «Поиски человека... маленькой девочки, должно быть, дочери... Мне ни разу не удалось увидеть ее. Она исчезала в толпе. Искал всюду. Помню ночную реку. По ее зловещему блеску я догадывался, что в этой реке нет воды, а вместо нее течет и едко пахнет жидкий деготь.

Была, кажется, война, и где-то за лесом фабричных труб и бесплодных холмов перекачивалась канада. Но никто не обращал на это внимания.

Чаще всего я искал ее на окраинах какого-то города, совершенно чужого и незнакомого. Там в палисадниках в пустом свете фонарей росли цветы, черные от копоти. Серая, как шкура змеи, окраинная ночь никогда не темнела.

Я выходил в поля, где немощно и сонно шумели маленькие хилые роши. Но нигде я не видел ее. Может быть, ее вообще не было на свете?

Однажды я остановился на сухой равнине, обдуваемой ночным ветром. Издалека, как обещание покоя, доносился нескончаемый рокот мо-

ря. Потом я услышал сквозь этот рокот легкие детские всхлипывания рядом с собой. Я бросился к ней, я видел ее бледное и очень худое лицо в тусклом свете бомбежек. Я обнял сырыми руками ее теплую слабую шею с выступающим маленьким позвонком».

В этом месте я каждый раз вскрикивал и просыпался весь в испарине.

Среди ночи приходилось снимать и выжимать рубаху. В неясной темноте я видел, как белеют мои ногти на пальцах, и каждый раз удивлялся, что вижу их в темноте.

Никого не было вокруг. В эти сухумские ночи я испытывал полную затерянность в мире, и временами мне становилось жаль самого себя.

Вся прошлая жизнь представлялась мне в виде сплошных горестей и ошибок. Я вспоминал маму, Галю, Лелю, цепь смертей и бед. Даже теперь, на расстоянии нескольких лет, я не хотел верить в смерть Лели. Самое существование смерти казалось мне издевательством. Я считал, что все живые существа, чувствуящие себя бессмертными, не должны и не могут умирать.

«Кто смел, — думал я, — так подло обойтись с нами, с людьми, способными создать внутри себя мир чувств, мыслей и событий настолько великолепный, что действительность порой кажется перед ним неуклюжей выдумкой?!» Сознание своего превосходства над природой доставляло мне странную радость, хотя я знал, что у природы было в руках более сильное оружие, чем у меня, человека.

Я твердо верил в бессмертие мысли, тысячи примеров этого геснились вокруг. И порой я сам считал себя властителем и создателем разнообразного собственного мира.

Я точно знал, что этот мир не подвержен тлению, которому подвержен я. Пока существует земля, этот мир будет жить. Это сознание наполняло меня спокойствием. Хорошо, я умру непременно, мое полное исчезновение — вопрос малого времени, не больше. Но никогда не умрут Тристан и Изольда, сонеты Шекспира, «Порубка» Левитана, затянутая сеткой дождя, и чеховская «Дама с собачкой». Никогда не умрет ночной беспредельный шум океана в стихах Бунина и слезы Наташи Ростовской над телом умершего князя Андрея.

Потомки будут взволнованы этим так же, как сейчас взволнованы мы. И где-то, когда-то легкое веяние, легкое прикосновение наших слов почувствуют сияющие от счастья и горя глаза тех, кто будет жить столетиями позже нас.

Чем чаще я думал так, тем скорее таяла горечь и тем крепче я верил, что, исчезнув из этого мира, я все же могу оставить на облике жизни хотя бы ничтожную, но вечную черту. Таковую черту, какую оставляет резец на гравировальной доске.

По временам я совершенно терял чувство реальности. Сухум с его великолепными сумерками, тяжелым золотом и липкой кровью заката, с его острым запахом листвы, преследовавшим меня повсюду, казался мне городом, оброненным здесь из чужой и не имеющей имени страны.

Я перестал ходить в Абсоюз; лежал неподвижно сутками, следя за бегом воображения — то ровным, то стремительным и суматошным. Все это окончилось тем, что в комнате у меня появился деятельный товарищ Рывкин в своей серой летней черкеске и с газырями, а с ним — угрюмый молодой человек, стриженный ежиком.

Человек этот оказался врачом-невропатологом, единственным в Сухуме. Рывкин привел его, чтобы выбить меня из того нездорового состояния нереальности, к которому я уже начал привыкать.

— Малярный делириум, бред, — скучно сказал молодой человек

с ежиком. — Если дать больному плыть по течению, то дело окончится крахом. Встряхнитесь!

Он взял меня за плечи и так сильно встряхнул, что я почувствовал, как кровь рванулась вон из моих жил, а потом тяжело прилила обратно. Мне стало больно. Я застонал. Молодой врач — фамилия его была Самойлин — влил мне в рот ложку какой-то синей жидкости и велел пить ее каждый день. После этого слюна и белки глаз приобрели у меня яркий ультрамариновый цвет.

Малярия начала оставлять меня. Вернулось чувство реальности. Но я пока что еще не испытывал от этого особого восторга.

Однажды доктор Самойлин сказал, что мне необходимо хотя бы на несколько дней уйти в горы, к Главному хребту, где воздух так чист, а по ночам еще и так холоден, что звенит при каждом движении, будто вокруг разбиваются тонкие льдинки.

Я отнесся к этому предложению Самойлина недоверчиво, как ко всем смехотворным предписаниям врачей. Я помнил, как в Одессе доктор Ландесман в разгар голода предписал мне есть зернистую икру и устриц, обрызганных лимонным соком.

Но слова доктора о воздухе, что ломается со звоном, мне понравились. Во всяком случае, в этих словах утверждалось отношение к миру, свойственное мне самому.

Я не стесняюсь признаться в этом перед лицом сотен и тысяч положительных и здравомыслящих читателей.

Очевидно, условность свойственна нашему разуму. Все дело в том, что существует условность, радующая нас легкими откровениями, и другая условность, которая сковывает вольный человеческий дух.

Очевидно, из-за малярии воображение стремительно отзывалось на все, что давало ему мало-мальскую пищу, и разгоралось целыми пожарами красок и цвета.

Стоило мне вспомнить, что доктор Ландесман советовал сбрызнуть мифические устрицы лимонным соком, как я представил себе этот замерзший сок, его снежные шарики, похожие на цветы белой мимозы (может быть, где-нибудь в мире и растет такая мимоза). Они испускали дурманящий запах. Мой взгляд проникал внутрь этих шариков, где были спрятаны микроскопические волшебные пейзажи.

Самойлин начал часто заходить ко мне. Иногда он приводил с собой купленного им на базаре за три рубля горного медвежонка. Доктор привязывал его к стволу пальмы. Медвежонок, стоя на задних лапах, все время ахал от восхищения и скреб себе когтями затылок при виде маленькой и семенящей вблизи от него разноцветной Генриетты Францевны.

Генриетта Францевна одевалась несколько странно — слишком молодо и ярко. Серые свои кудряшки она повязывала оранжевой лентой, а копаясь в саду, напевала скачущие швейцарские песенки. Это обстоятельство удивляло всех окружающих, а не только неотесанного медвежонка.

Однажды Самойлин привел с собой еще и широкого, как шкаф, и как бы склепанного из вздутых железных мускулов белобрысого человека в заштопанной тельняшке. То был борец из захолустного сухумского цирка по фамилии Зацаренный — мужчина невозмутимый и сговорчивый. Кроме того, у Зацаренного было редчайшее достоинство — он хорошо говорил по-абхазски, так как был женат на абхазке.

Борец согласился идти с нами к Главному хребту. Он прекрасно знал Абхазию и тут же набросал наиболее возможный и точный маршрут: через селения Мерхеулы и Цебельду, вдоль дикого ущелья Герге-



мыш на горное озеро Амтхел-Азанта у подножия величественного массива Марух, немного к северо-западу от Клухорского перевала.

Я с наслаждением вслушивался во все названия, предчувствуя удивительный неторопливый поход.

Названия некоторых вершин звучали так, будто мы перенеслись в Южную Америку. Особенно удивляла меня гора по имени Агуа. Агуа — Аконкагуа в этом было что-то девственное, как леса, еще не тронутые топором человека.

Я был слаб после болезни, но счастлив. Мне казалось, что я впервые испытываю длительную радость от воплощения давнишней мечты. Я перебирал свою жизнь и тут же убеждался, что это действительно так и что до тех пор все увлекательные мои путешествия часто бывали ограничены четырьмя стенами комнаты.

Счастье началось в утро, назначенное для выхода из Сухума. Я проснулся от слитного птичьего свиста.

Может быть, сотни, а вернее, тысячи птиц, поблескивая разноцветным оперением, шевелили густую листву мушмалы, мимозы и тополя. Для меня, как и для подавляющего большинства людей, было непонятно это суетливое воздушное общество, все эти вихри и путаницы перелетов, преследований друг друга и непрерывных трепыханий.

В то время я почти не мог назвать ни одной птицы, кроме воробья и ласточки. Не только я, но многие люди, кроме специалистов-орнитологов, не знали птиц. Я воспринимал этот шумный летучий мир чисто внешне. Поэтому он был, конечно, менее интересным для меня, чем на самом деле.

В огромном и таинственном окружении природы мы жили как бы с завязанными глазами. Мы знали о нем только случайные отрывки.

Примерно с тех пор я начал еще упорнее накапливать познания, но без всякого разбора. У меня не было последовательности. Знания подбирались главным образом по степени их живописности и пригодности, чтобы блеснуть ими в разговоре.

Да, в то утро ухода из Сухума я проснулся от птичьего трепыханья, встал и подошел к окну.

Воздух в саду был холоден, как стекло. И, как на стекле, на нем лежали прозрачные тени деревьев. Утренний запах воды наполнял все пространство вокруг дома. Мне казалось, что в этом запахе соединялось дыхание листьев, древесной коры, горного снега, прибоя, ручьев, падающих с высоты вдоль отвесных скал, щебенки, мяты и вина. Все это сливалось в один запах терпкий и возбуждающий. То было дыхание чистейшего и блестящего, как хрусталь, приморского субтропического утра.

Шум, утро, его свежие брызги, высокие переливы птичьей переключки, качающиеся мокрые ветки, воздух, щедро пролитый с неба, и запахи, чуть пряные, — все это было, безусловно, счастьем, но медленным, спокойным и верным.

Оно не могло изменить мне потому, что существовало помимо меня.

### ОЗЕРО АМТХЕЛ-АЗАНТА

Вышли мы из Сухума рано, когда пыль на дорогах еще не раскалилась. В эту пыль падали толстые лепестки огромных, растрепанных, как итальянские красавицы, пунцовых роз.

Сейчас, почти через сорок лет, весь тот путь, что мы прошли тогда втроем, конечно, изменился, и никто из нас его, должно быть, сразу и не узнает. Возможно, что от прошлого сохранились только очертания гор, но даже и в этом я не всегда уверен.

Изменения в природе обладают свойством мгновенно распространяться во все стороны, как круги по воде от брошенного камня.

Поэтому я и хочу здесь бегло закрепить этот путь и весь поход на озеро в том виде, в каком он предстал перед нами тогда.

Мне трудно ответить на вопрос, зачем я все это делаю. Стремление сохранить в нашей памяти то, что безвозвратно исчезает, — одно из сильнейших человеческих побуждений. В данном случае я ему подчиняюсь.

Сначала мы шли по берегу горной речки Келасуры. Она вырывалась из теснин и, как бы вздохнув, разливалась мелкими плесами по гальке. То тут, то там она закручивала среди изумрудного потока полосы пены, похожие на страусовые перья. Течение разрывало эти перья, но тут же они появлялись опять, еще более пышные, чем раньше.

За селением Мерхеулы, мы, спрямляя дорогу, пошли через жаркие кукурузные плантации. Ни одна струя свежего воздуха не могла прорваться сквозь горячий шелестящий частокол кукурузы.

Духота была тем тяжелее, что совсем вблизи, казалось, над самыми метелками кукурузы, в поблекшем небе вздымались ледяные хребты Кавказских гор, подернутые голубеющим угаром. Там, вдали, чувствовался их блистательный, их освежающий сердце холод. И мы, обливаясь потом, рвались к ним, проклиная засуху, проклиная пыль и горячие комья глины у нас под ногами.

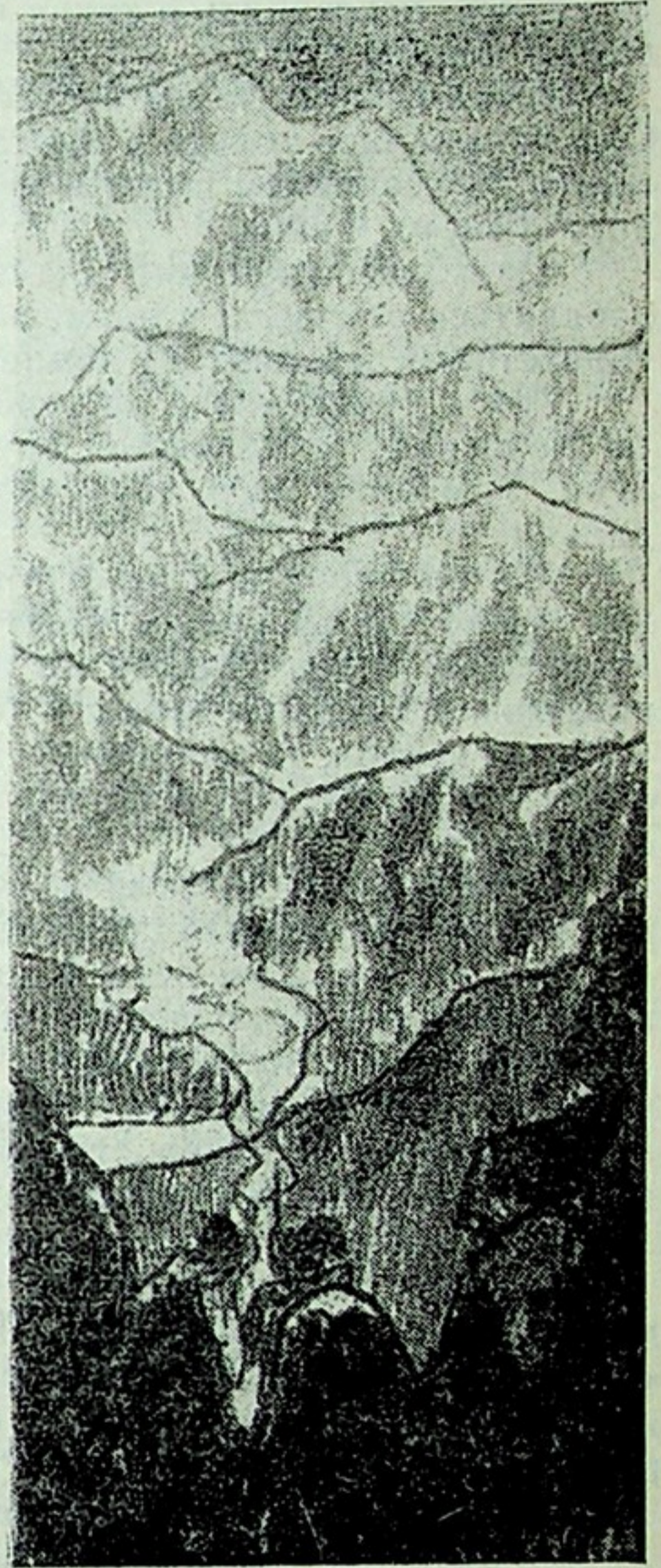
Только к вечеру мы вышли из лабиринта кукурузников на дорогу, упали на берегу какого-то шумящего потока и начали жадно пить холодную воду. От нее сводило челюсти.

Борец захватил стеклянный стакан. Неразумно было брать в такой поход стеклянные вещи. Но, очевидно, у него не было ничего другого, и он схватил то, что попало под руку.

Борец вымыл в потоке стакан с таким усердием, что стекло закрепило у него под пальцами, зачерпнул воды, и мы увидели, что этот прозрачный стакан по сравнению с горной водой был серым и грязноватым.

Я никогда еще не видел такой воды. Она была чище воздуха. В ней ощущалась целина небесных пространств. Вода эта родилась над нами, на огромной высоте, где как бы струились, не двигаясь с места, облака из ледяных кристаллов.

Эта вода долго лежала в виде кристаллов на вершинах гор. Давление все сильнее сжимало кристаллы. Они становились более прозрачными, чем алмазы. А потом эти кристаллы, слежавшись в ледяную толщу, стекали ледниками с гор и, встретившись на кромке земли с первы-



ми цветами крокусов и эдельвейсов, тихонько таяли и начинали свой бег в низины, где клубилось Черное море.

Как рассказать, что за цветы эдельвейсы? Это трудно. Вообще говоря, они похожи на маленькие звезды, закутанные по горло в белый мех, чтобы не замерзнуть от прикосновения льдов.

Иногда мне хочется встретить собеседника, с которым можно, не стесняясь, поговорить о таких вещах, как эдельвейсы или запах кипарисовых шишек.

К сожалению, таких собеседников в обыденной жизни я не встречал. Они попадались только в книгах. Пожалуй, самым внимательным и веселым собеседником по этим предметам был наш несколько болезненный друг Генрих Гейне.

Свой романтический плащ он, конечно, прикрывал иронией, чтобы избавиться от свиста и насмешек тех самых дураков, которых, по его авторитетному мнению, на земле было больше, чем людей.

Так я думал, лежа на берегу горной речки (это, кажется, уже была не Келасура, а какая-то другая река), предаваясь восхитительной лени. У меня и моих спутников не было никакого желания двигаться дальше.

Мы предпочитали лежать на сухой гальке и смотреть в небо. А оно как будто обрадовалось нашему пристальному вниманию и затеяло воздушную игру, пронося по зениту бесконечные легчайшие туманные покрывала разных слабых и блеклых раскрасок — то сиреневой с оттенком серебра, то оливковой, то розовой, как полудрагоценный камень: о нем все знают, но редко кто его видел. Кажется, он называется александритом.

С трудом мы добрались до крайнего дома в селении Цебельда. Селение это как бы ныряло среди зеленых кудрявых холмов.

Мы ночевали на ветхой дощатой террасе. Она шаталась от малейшего движения и скрипела, как сухая арба.

Всю ночь в кукурузниках скулили шакалы, а когда ближе к утру взошла луна, их жалобы превратились в залиvistый вой.

К террасе подошел сторож — старый абхазец с длинным кремневым ружьем времен покорения Дагестана. Посидел на бревне около ступенек, покурил и спросил меня:

— Чего люди горячатся? С утра до вечера. Не знаешь? Я, понимаешь, счастливый уродился. Я двадцать лет хожу здесь сторожем вместе с собакой и ни с кем не спорю. Зачем спорить? Поспоришь — неприятность тебе сделают, побьют собаку. А ее жалко, она слепая на один глаз. Зовут ее Ахах!

Я подивился на такое странное собачье имя и спросил:

— Есть у тебя кто-нибудь? Или нет?

— Нету. Была жена, была дочь. Красивые обе. Они в Сухум ушли. Что им сохнуть в этой кукурузе! Я старик, видишь? — сторож показал мне при свете луны заплату на бешмете. — На Марух пойдешь? — спросил он равнодушно. — Горячишься? Обвалы на Марухе. Кого там искать будешь?

— Чего ты тут сторожишь?

— Много сторожу. Всякий огород, всякий дом, всякую кукурузу. Люди спят — я сторожу людей. Большой кусок земли обхожу. Вон, слышишь, — от того шума и до этого.

Он обвел рукой широкий полукруг. Я прислушался. Вдали шумела вода, а с противоположной стороны от этого шума она тоже шумела, но тише, как будто это было эхо первой воды.

— Водопады, — сказал сторож и встал. — Всю ночь шумят. Бог им приказал, чтобы работали, не смели молчать. Сердитый бог, вспылчи-

вый. А зачем сердиться? Мы работаем, слушаемся его, а он то найдет войну, то болезнь на табаки, то даст плохих детей. Нехорошо поступает! Горячится! Несправедливо поступает.

Старик почмокал губами и ушел. За ним побрел косматый черный пес. Каждую минуту пес присаживался и с исступлением вычесывал блох.

Я уже не мог уснуть.

Сейчас, когда прошло с тех пор уже много лет, я вспоминаю тот день и радуюсь, что впервые увидел тогда в самой глубине гор беззвучный и душистый, как дождь, рассвет.

Ледяные главы Большого хребта пламенели каемкой солнечного света. Он падал на старые окна дома, зажигал их радугой, и стекла отражали какое-то странное утро, лишь отдаленно похожее на то, что начиналось вокруг.

Станным я его называю потому, что оно походило на те утра, что писали художники Возрождения на своих картинах-иконах. Там, на этих картинах, мальчик с тонким посохом пас ягнят, похожих на мелкие облака. Дальние горы казались как бы вырезанными из разноцветного картона. Курчавые деревья напоминали виноград. Вода сливалась с игрушечных гор выпуклыми каскадами. Отдельные цветы высывались из земли в самых неожиданных местах. Единорог стоял на поляне, сияя золотым рогом, как зажженная пасхальная свеча. Мадонна склоняла нежный профиль к пухлому младенцу, вынув из-под сорочки полную грудь с темным соском.

Станным — вот таким, как я его описываю — это утро показалось мне только на мгновение, потому что на это мгновение я уснул.

Когда я проснулся, борец с Самойлиным уже кипятили чай на костре.

В Цебельде у Зацаренного жил знакомый фельдшер, грек по происхождению.

Мы провели весь день в его расшатанном доме. Почему-то в Цебельде не только терасса, где мы ночевали, но многие дома качались и потрескивали как после землетрясения. Очевидно, от ветхости.

Жена фельдшера, тучная и сонная русская женщина, накормила нас пловом с крупным изюмом. Кожура у него была такая тонкая, что под ней виднелись косточки.

Маленький дом фельдшера напоминал шкатулку с секретными ящиками или кладовую для всяческой смешной рухляди.

Только в детстве я видел такую обстановку, как в тесном домике фельдшера.

Около громадного, похожего на броненосец, коврового дивана стоял круглый стол, покрытый бордовой бархатной скатертью.

Какие-то жуки проели в этой скатерти много запутанных дорог. Для этого они сжевали ворс до самой основы.

Дороги на скатерти, если приглядеться, напоминали тропинки среди пыльных хлебов.

На скатерти лежали, вернее, покоились гигантские пухлые альбомы. Фельдшер увлекался тем, что вырезал отовсюду — из старых журналов и газет, иногда даже из книг — самые интересные картинки и клеил их в альбом.

Чаще всего фельдшер клеил фотографии всяких «августейших особ», особенно беспутного английского короля Эдуарда VII, актрис и адмиралов. Любовь его к пышной морской форме и своему греческому старенькому флоту была трогательна и неистребима. Над диваном висела литография знаменитого крейсера «Аверов», купленного Грецией за гроши не то у республики Чили, не то у республики Перу. Но в общем это не имело никакого значения.

Ах этот крейсер «Аверов»! Сколько в те годы я видел в Одессе его роскошных изображений! Из его труб всегда валил устрашающий дым, и десятки греческих бело-голубых флагов развевались во всех местах корабля, куда только можно было прицепить флаг.

«Аверов» — гроза морей — гордо нес свою обветшалую стальную броню. Даже качаться на волнах, расходившихся от его ахтерштевня, было лестно каждому, кто понимал толк в кораблях.

Я несколько раз уже писал об «Аверове». Это моя слабость. Я не устану прославлять этот крейсер, как символ независимости маленького народа и его борьбы против натиска всякого рода хищников.

Карикатуры на этих хищников тоже были наклеены в альбоме у фельдшера. То были тощий «дядя Сэм» с козлиной бородкой, в жилете из звездного американского флага, шаровидный Джон Буль со знаком фунта стерлингов на животе. Унылый носатый Абдул-Гамид и перезрелая куртизанка в фригийском колпаке — Франция.

Были альбомы только с видами и только с литографиями семейных картин тяжеловесных немецких художников вроде Каульбаха. Мне всегда казалось, что от этих картин пахнет пленками.

Был, наконец, альбом с гравюрами обнаженных красавиц — томных, волооких, сидящих почему-то, заложив нога на ногу, на огромном серпе — месяце, сыпящих цветы из рога изобилия, стыдливо прикрывающих груди, как Леда под жгучим взглядом лебедя, купающихся, причесывающихся, убегающих от козлоногих кентавров и пляшущих с тимпанами в извилистых руках.

Правда, этот альбом лежал в сторонке, на этажерке, стыдливо прикрытый пачкой газет.

Кроме того, по стенам висело много гипсовых блюдечек с нарисованными на них спелыми вишнями и грушами.

В одной из астрономических книг, кажется, у Джойса, я прочел, что радующий нас растительный покров земли перед лицом величественных явлений природы — только жалкая плесень.

И вдруг эта квартирка фельдшера с заношенными вещами, альбомами и запахом жидкости от клопов действительно показалась мне плесенью перед стеной блистательных гор, взнесенных к небу. Они стояли над копошащимся в долине человечком с его вялой заспанной женой, с его неприбранным миром. Этот мир луч солнца, усиленный всего в десять раз, может мгновенно превратить в тошнотворно пахнущий пепел.

За обедом фельдшер — его звали Яни — сказал речь по случаю нашего похода на озеро Амтхел-Азанта. Говорил он, как старомодный оратор, — с риторическими вопросами, с пафосом и дрожанием голоса или, как выразился борец, «играл на сердечной струне».

— О Александр! — воскликнул Яни. — В Сухуме расцветают лавры! Они не дают тебе спать. Ты жаждешь открытий! Славы! Зачем? Тебе разве мало своего любимого семейства — милой жены Маргариты и сына Пахома?

— Ты лучше покажи дорогу на Амтхел, — сердито ответил борец. — Про Маргариту я и без тебя знаю.

Фельдшер с грустью покачал головой.

— Вот именно! — сказал он с укором. — Я сам, своими руками толкаю человека на опасный путь! Сам!

— А что же там опасного? — спросил Самойлин.

— Александр! — зловещим голосом ответил фельдшер. — Я предупредил тебя. Я умываю руки! Ты слышишь меня?

— Ну, умой, умой, — добродушно согласился борец. — Не устраивай здесь Художественный театр. Одевайся и проводи нас до начала тропы.

Фельдшер, вздыхая, вывел нас за околицу Цебельды, к боковому лесу, и показал тропу. Он сказал, что через километр тропа окончится и дальше нам придется идти по зарубкам на деревьях.

Я впервые видел сплошной буковый лес. Это был светлый лес, торжественный, как византийский собор. Или, пожалуй, он больше напоминал бесконечную колоннаду из высоких стволов, как бы обтянутых зеленоватой замшей, — некий мшистый и прохладный форум по склонам гор.

Мы шли часа два, наслаждаясь всем, что окружало нас: немного резким воздухом лесной подстилки, лучами солнца, рывшимися в мокрой листве, непонятым далеким гулом. Может быть, это гудели, падая с высоты, камнепады, а может быть, это было эхо от раскатыстых лавин.

Зарубки привели нас в узкое ущелье Гергемыш.

Мы прошли ущелье и с обрыва в лесу увидели Марух. Он горел в небе, как голубой алмаз в гранитной оправе.

Все вокруг поражало меня смешением грандиозного и бесконечно малого, причем и то и другое было одинаково прекрасно: и отдаленные ледяные гребни Маруха, над которыми нависали громадные карнизы слежавшегося снега, и близкие мелкие цветы кизила на только что родившихся кустах. Кусты эти выглядывали из расщелин в скалах.

Вокруг нас толпилось огромное общество горных трав, хвошей, ворсистых оранжевых цветов, хвои, длинной, как вязальные спицы, и все это, разогретое солнцем, испускало смолистый и нежный запах.

Мы упали в густой мох на скалу среди леса, похожую на громадный жертвенник, и пролежали часа два без всякого желания двигаться дальше.

Несколько раз в жизни мной овладевала мысль о соседстве мирной и безмятежной природы с человеческой жестокостью.

Впервые эта мысль потрясла меня и довела до ярости на человека, когда в 1919 году в Полесье я увидел мальчика лет десяти, убитого бандитами в то время, когда он сидел на колосистом берегу реки Уж и удил рыбу самодельной ореховой удочкой. Солнце горело над ним, а теплый ветер медленно проносил по небу пушистые облака.

Бандиты из какого-то подлого отряда какого-то подлого батьки Струка заметили мальчика с другого берега реки и, гогоча, расстреляли его как мишень.

Местные лесовики, боясь бандитов и потому как бы оправдывая их, говорили, что «хлопцы» были пьяные. Но в том, что пьяный человек становится хуже самого грязного скота, нет для людей никакого оправдания.

Я никогда не забуду нагретые солнцем волосы мертвого веснушчатого мальчика — милые, выгоревшие, детские и какие-то беспомощные волосы. На лицо мальчика я не смотрел. Но этот день моей жизни я буду помнить до смерти. Я не решался рассказать о нем никому, даже маме, чтобы не омрачать ее жизнь. Только сейчас я впервые заговорил об этом.

Прозрачная вода цвета зеленоватой лазури лежала внизу. По ней плавали сухие коричневые листья кленов.

Листья собирались в эскадры и двигались очень дружно: поворачивали, как по команде, «все вдруг», а при малейшем ветре срывались с места, будто с якорей, и, перегоняя друг друга, уплывали на середину озера. Там вода горела в солнечном свете спиртовым огнем.

У самого берега плавали водяные курочки с бисерными веселыми глазами.

Налево, цепляясь за отвесные гранитные стены, вздымался лес, та-

кой же загадочный, каким он казался издалека. Позади нас шуршали осыпи. А направо я боялся даже смотреть — там, рванувшись к небу, остановился, весь напряженный, казалось, до медного стона в своих жилах, угрюмый, непостижимый Марух.

В одном месте, очевидно, из ледниковой пещеры, летела по воздуху широкая струя воды и падала, сосредоточенно шумя, в озеро.

То была река Азанта. Она вливалась в озеро со стороны ледников водопадом, а у нас под ногами, на заваленном скалами пляже, стремительным потоком уходила под землю, исчезала у самых ног и засасывала водоворотами в подземные страшные бездны все, что мы бросали в воду, каждую ветку и каждый клочок бумаги.

Борец рассказал, что за 12 километров к югу река Азанта снова вырывалась на поверхность пенистым потоком и опрометью неслась, зажмурив глаза от внезапного солнца, к Черному морю.

Камни шевелились под речной водой и били друг друга, будто пробовали, чей звон продержится дольше.

Я боялся пристально смотреть на Марух. Мне начинало казаться, что льды на его вершине тоже двигаются, как река, и вот-вот сорвутся грохочущим на весь мир ледопадом. Но все же я время от времени взглядывал на Марух. Он притягивал к себе, заставлял смотреть на себя и угадывать тайны, спрятанные в тени его ущелий и в слабом колыхании альпийских лугов.

Я еще не знал, какие могут быть у Маруха тайны от нас, но временами уже различал розовые лишай на скалах, медленное передвижение теней — они крались к вершине, чтобы погасить ее свет, различал струи дыма, катившиеся, погромыхая, вниз по склонам Маруха. Потом я догадался, что это не дым, а пыль от осыпей.

Весь день Марух стоял против нас, как бронзовый, позеленевший престол какого-то исполинского грозного божества, как угловатый щит аттического героя — Геракла или Атланта. Конечно, Марух мог, подобно Атланту, держать на своих плечах весь земной шар.

Вечером Марух превратился из бронзового в сияющий до боли в глазах золотой самородок такой величины, что его блеск, очевидно, был заметен даже на луне.

— Теперь, — сказал мне Зацаренный и вздохнул, — живите в этой тишине, молчите, смотрите и думайте. В Сухум вернетесь другим человеком. Самого себя не узнаете.

Я с удивлением посмотрел на борца. Я не ожидал от него таких слов. До этого он казался мне человеком простоватым и недалеким.

Почему-то сейчас меня преследует мысль, что нужно записать весь порядок событий на озере, хотя, по существу, никаких событий не было. Но все-таки...

Все-таки началось с того, что нам пришлось спускаться к озеру по отвесному склону, цепляясь за корни деревьев и за кусты самшита.

Тогда я впервые узнал, что крошечный самшит, похожий на кустик нашей брусники (и с такими же мелкими кожистыми листиками), легко выдерживает тяжесть взрослого человека.

На озере был намыт узкий пляж из песка, заваленный каменными глыбами, скатившимися с гор.

В одном месте глыбы легли так, что образовали глухую и длинную пещеру с выходом к самой воде. В этой пещере мы устроили бивуак.

Пещера казалась необыкновенно уютной. Очевидно, потому, что защищала от дождей, каменных осыпей и ветров.

В пещере мы более или менее спокойно ели. Никто нам не мешал.

В первый же день мы по неопытности разложили еду на берегу, на разостланном плаще. Тотчас из воды вышла маленькая водяная курочка,

приковыляла прямо ко мне и, крикнув, вырвала у меня из руки кусок хлеба. Я отнял у нее хлеб, но она начала драться и несколько раз больно ущипнула меня за палец.

В это время с берега приковыляло еще несколько совершенно непуганных курочек. Пока мы отгоняли их, раздался тяжелый свист, и молодой горный орел спикировал на нас, схватил кусок копченой колбасы и взмыл с ним к небу.

С тех пор мы ели осторожно и прятали рюкзаки с продуктами под камни. Но курочки все равно собирались около нас, как только мы начинали есть. Они толпились и толкались, пытались пробиться к нам поближе, наступали друг другу на перепончатые лапки и выщипывали перья.

Когда мы ловили их, они подымали неистовый крик, но только до тех пор, пока кто-нибудь из нас держал их в руках. Стоило отпустить курочку на землю, как она тотчас же начинала карабкаться к вам на колени и вырывать из рук любую еду.

Это нам нравилось. «Должно быть, — глубокомысленно сказал Зацаренный, — так свободно вели себя звери только в раю».

С тех пор, как мы появились на озере, водяные курочки держались только у того берега, где был наш бивуак. Они старались далеко не отплывать, чтобы не пропустить кормежку.

Но не все звери вели себя так добродушно и доверчиво. Были у нас на озере и враги — шакалы и маленькие горные медведи.

Самыми наглыми и изобретательными были шакалы.

В первую же ночь они украли наш жестяной чайник и потащили его в горы, но уронили, и чайник с лязгом и грохотом покатился в озеро.

Мы проснулись вовремя и спасли чайник. На нем оказалось несколько больших вмятин от удара о камни, но все же он не потек. Мы благодарили за это судьбу. Иначе мы бы пропали без чая. Особенно плохо пришлось бы Зацаренному. Он мог пить чай весь день, сидя на солнце и блаженно прищурив глаза.

— Какой воздух! — говорил он и шумно вздыхал. — Не воздух, а бальзам, Топо-Бэнге!

На вторую ночь шакалы подползли к нам «по-пластунски» и пытались вытащить из-под головы у Самойлина мешок с продуктами. Мешки мы из предосторожности клали себе под голову, но оказалось, что это тоже не спасает нас от воровства. Тогда мы решили по ночам дежурить по очереди у костра.

В первую же ночь дежурства борец задремал и очнулся, когда шакалы, упираясь всеми четырьмя лапами, тащили из-под камня пакет с копченой рыбой.

Тогда я придумал, как мне казалось, замечательный способ борьбы с шакалами. Я нашел на берегу длинный сухой шест. Когда пришла моя очередь дежурить, я сел у костра и положил шест рядом с собой. Зацаренный и Самойлин уснули. Я же притворился спящим. И даже слегка всхрапывал.

В эту ночь я впервые увидел, как подползают шакалы. Ах, как интересно! — скажете вы. Но я утверждаю, как свидетель, что, может быть, это для кого-нибудь и интересно, но главным образом противно и даже страшно.

Шакалы подползали в свете костра, как тени, как шевелящиеся облезлые призраки.

Я осторожно засунул конец шеста в огонь. Шакалы на мгновение замерли, потом снова начали подползать.

Впереди полз вожак. Я его уже хорошо видел в отсвете костра. Уши у него были прижаты, а щербатая морда была на всякий случай оскалена.



Я ждал, пока вожак подползет к костру (около него лежала в виде приманки колбаса) на длину шеста, потом стремительно выхватил из костра пылающий шест и ударил им вожака.

Вожак прежде всего вскрикнул. В его злом крике мне даже послышались наши человеческие слова: «Уй, черт!» Потом он прыгнул, но не вперед, а назад и кинулся в горы, уводя за собой всю стаю. Запахло паленой шерстью. Из этого можно было заключить, что я подпалил шакалью шкуру.

Зацаренный и Самойлин проснулись. Они расхваливали мою находчивость. Они, как мне кажется, даже льстили мне при этом. Я был готов возгордиться своим открытием. Но если бы я знал, какие невыносимые последствия обрушатся на нас после моей расправы с шакалами, то я бы, конечно, не делал таких опрометчивых опытов.

Шакалы взобрались на соседние скалы и все, как один, завыли с таким отчаянием и остервенением, что ни о каком сне под этот вой не могло быть и речи. Они мстили нам и выли двое суток.

Медведи оказались зловреднее шакалов. Они придумали ловкий способ, чтобы выжить нас с озера. С тех пор мы пребывали в какой-то нервной осаде и если уцелели, то только благодаря постоянной настороженности.

С утра медведи залегли вверху, на краю отвесного обрыва, и, свесив головы, следили за нами.

Если кто-нибудь из нас, забыв об опасности, проходил внизу по берегу мимо медведей, они спускали на него камень и вызывали обвал. Летела пыль, грохотали, подскакивая, большие валуны, стреляла во все стороны и со свистом врезалась в воду щебенка. Самойлин чуть не погиб под таким обвалом.

Мы пытались прогнать медведей, но у нас не было оружия. Наш свист и ругань на них не действовали.

Это было очень досадно. Мы не могли свободно ходить по берегу, а должны были держаться под прикрытием пещеры.

Иногда Зацаренный терял терпение, поносил медведей могучим басом и грозил им кулаком. В ответ медведи оживлялись, с любопытством вытягивали головы и спускали новый обвал.

Но наконец судьба отомстила за нас. Маленький медведь слишком далеко высунулся над обрывом, сорвался, пронесся черным косматым шаром мимо нас, с сильным плеском грохнулся в воду, коротко взревел, нырнул и исчез навсегда. Очевидно, он утонул, бедняга.

Медведи просидели на обрыве до вечера, ушли и больше не возвращались. Исчезновение товарища напугало их. Они, очевидно, приписали это нашим человеческим козням.

У берегов в синей воде лежали большие плоские камни цвета слоновой кости.

В одном месте камней этих было так много, что я, перепрыгивая с камня на камень, добирался чуть ли не до середины озера, чтобы поймать рыбу. У последних камней было очень глубоко.

Однажды я сорвался с камня одной ногой и почувствовал нестерпимый обжигающий холод ледниковой воды. Ступню тотчас же свела судорога, будто кто-то начал быстро наматывать на спицу тугое скрипучее сухожилие. Казалось, что оно вот-вот лопнет. Я даже закричал от боли.

Но на камнях, несмотря на космически холодную воду, было жарко, и на озере всегда стояло безветрие. Хрустальность (а может быть, вернее — кристальность) отражений в его воде была настолько совершен-

ной, что отличить отражение берегов и гор от настоящих берегов и гор было невозможно.

Как бы два Кавказа существовали вокруг. Один вздымался к высокому небу, а другой уходил в сияющую бездну под нашими ногами. По дну этой бездны медленно передвигались, как и по небу, одинаковые перистые облака.

Когда я забрасывал в озеро леску с грузилом, то каждый раз разбивал идеальную слитность этого мира.

Время от времени брала сильная, как напряженный мускул, форель-пеструха. Или лобан стремительно уводил леску по прямой и, мотнув хвостом, обрывал ее, как паутину.

Это было удивительное занятие — ловить рыбу в жидком сапфире и со странной жадностью насыщать свои глаза всем, что располагалось вокруг, — от узора трещин на плоском камне до поплавок и связанных пучком сухих листьев клена. В момент клева листья складывались, как веер, и медленно погружались в воду.

Я удил до вечера. На камнях меня заставлял закат. Однажды я невольно вскрикнул от неожиданности, когда поднял глаза от поплавок и вдруг увидел отражение солнца на ледниках, как бы обогранных кровью.

Я вскрикнул невольно и рассердился на себя за то, что не сдержался. Но слишком огромен был размах сгорающего неба, слишком загадочен был дым облаков и слишком алмазен был блеск льдов на вершине Маруха.

Вообще в жизни мне везло. Почти каждый день я узнавал или видел что-нибудь новое. А чем больше знаешь, тем интереснее и, как это ни покажется странным, таинственней делается жизнь.

Во время закатов у подножия Главного хребта я видел одно из самых величественных зрелищ на земле, — разлив такого цветового блеска, что, казалось, на этой высоте над уровнем моря у наших глаз появляется дополнительное свойство: видеть гораздо больше красок, чем в глубине долин, в степях и на морских побережьях.

Но все же я без сожаления ждал, когда закат начнет угасать. Потому что я знал, что в сумерках, слабо просвеченных далекими отблесками моря, заключено не меньше прелести, чем в горных закатах.

А потом все стихало, все дотлевало. Тишина садилась к костру и долго смотрела, как подергивались сиреневым пеплом последние угли. Часто падали звезды.

На шестой день у нас кончились продукты, и мы ушли с озера Амтхел-Азанта.

Мы решили идти в Сухум прямо через горы, минуя ущелье Гергемыш.

Карты у нас не было, но борец брался вывести нас к тому месту, где река Азанта, пройдя 12 километров под землей, снова выбивалась на поверхность. Дальше нужно было держаться вдоль реки и выйти к Мерхеулам.

Эти 12 километров мы шли весь день. В Сухум мы возвратились сожженные, пыльные, голодные, со стертymi ногами, но счастливые.

В Сухуме было сонно, душно и одиноко.

Во время моего отсутствия мадмуазель Жалю сдала соседнюю пустовавшую комнату белокрысому человечку, бухгалтеру из торгового отдела по фамилии Котников.

Все в этом рассудительном человечке было, как говорят врачи, противопоказано Сухуму, начиная с того, что он был веснушат, непрерыв-

но мигал красноватыми альбиносскими глазками с белыми ресницами и любил петь песню: «Я б желала женишка такого, чтобы он в манишке щиголял». Пел он тонким, свистящим тенорком.

В свободное время он пил чай в саду под бананом. Вышитое петушками полотенце висело у него на шее. Он поминутно вытирал им потное красное лицо, прокашливался и снова запевал: «Чтоб он в манишке щиголял, в руке тросточку держал».

На Кавказе Котников вел себя так, будто это был не Сухум, а Польша. Ничто его не интересовало — ни море, ни тропическая растительность, ни горы, ни абхазцы, ни их характер и нравы. Он любил вспоминать о городе Мологе, откуда был родом. Почти все свои рассказы он начинал одной и той же фразой: «Вот в нашем городке Мологе у мамы моей, уважаемой Апполинаруны Флоровны был заведен зверский порядочек».

С появлением Котникова сразу стало скучно. Время будто остановилось. Оно стояло бессмысленно, как испорченные часы, под назойливое мурлыканье счетовода: «Вышла Маша в лес гулять, женишка себе сыскать».

Потом приехала из России жена Котникова — точно такая же, как и он, маленькая, курносенькая, вся в розовых веснушках. Она вошла в дом и, еще не сняв пальто, спросила мужа:

— Почему тут у вас яички?

Конечно, это было несправедливо, но я сразу невзлюбил Котникова и его жену. И понял, что дальше жить в Сухуме совершенно бессмысленно и мне здесь нечего делать.

Я решил ехать дальше, в Батум. Там поселилась машинистка из «Моряка» Люсьена. Она вышла в Одессе замуж за художника Синявского и бежала из голодной Одессы в Батум. Она написала мне, что в Батуме объявлено «порто франко» и город завален «шикарными товарами» — сахарином, бубликами, дамскими подвязками и шнурками для ботинок. «В крайнем случае, — писала Люсьена, — можно жевать подвязки».

Кроме Люсьены, в Батуме на Зеленом мысу жил Бабель с женой Евгенией Борисовной и сестрой Мери.

А я корпел в сухумском одиночестве и правил заметки в маленькой скучной газете.

Я возмутился на самого себя, сел без билета на пароход «Ильич» и уехал в Батум.

Наступил вечер. Берега Абхазии затягивались туманом. Я лежал на корме около флагштока, подложив под голову пальто и маленькую подушку, набитую сухумским табаком (вывозить из Абхазии табак было запрещено).

Неожиданно в терпкий запах табака ворвался принесенный с берега движением воздуха счастливый запах магнолий и мимоз — томительный воздух скитаний, Малой Азии, непроглядных зарослей и крошечных теплых ночей. И у меня сжалось сердце. Уходила, и, должно быть, навсегда, еще одна область земли, где я оставлял частицу своих мыслей и времени.

Действительно, Сухум ушел навсегда. Через несколько лет я попал ненадолго в этот город и не узнал его. Он превратился в многолюдный и пышный щеголеватый курорт. На его улицах пахло не магнолией, а пережженным газом из выхлопных труб и палеными женскими волосами.

А сейчас я лежал на палубе и думал, что идиллическая жизнь Сухума окончилась навсегда.

той жизни был  
Пожалуй, последним событием этой жизни была встреча Михаила Ивановича Калинина.

Калинин проезжал на пароходе мимо Сухума и сошел на несколько часов на берег. На набережной собрался весь город — живописная толчея башлыков, черкесок, длинных седых усов, откидных рукавов с разноцветной подкладкой, кинжалов и брюк галифе с золотыми лампасами.

Когда шлюпка с Калининым отвалила от парохода и начала приближаться к берегу, простодушный начальник сухумской милиции проскакал на горячем коне вдоль набережной и крикнул толпе:

— Красивые, вперед!

В толпе произошло стремительное и безмолвное движение. Все ринулись вперед, но в полном молчании, чтобы не показаться невежами перед гостем. Не раздалось ни одного крика, ни одного проклятия. Работали только локти.

И действительно, на глазах произошло подобие чуда: толпа как бы сама по себе отобрала и выбросила вперед всех красивых — юношей с орлиными носами, серебряных старозаветных старцев и гортанных девушек, пышущих жаром от борьбы с соперницами за первое место.

Начальник милиции второй раз проскакал вдоль толпы, потом крикнул «Душевно благодарю!» — и его конь, приплясывая, танцуя, прядая ушами, одним словом, кокетливо гарцуя, двинулся к пристани, где, как горный обвал, грянул гром оркестра из дудок и барабанов так называемого «сазандари» — самого выносливого бодро-заунывного оркестра в мире.

#### БАТУМСКИЕ ЗВУКИ И ЗАПАХИ

Духанов и кофеен в Батуме было множество.

Застекленные двери во всех духанах и кофейнях были расшатаны. Они дребезжали и долго звенели при каждом толчке.

Постоянный звон дверей сливался со звоном листовой меди. Худые медники с провалившимися глазами выковывали из этих листов маленькие турецкие кофейники и приклепывали к ним длинные — тоже медные — ручки.

Тут же, на новых коврах, разложенных на мостовой, посреди узеньких улиц, нахальные девочки-цыганки били в старые бубны с колокольцами, танцевали и выкрикивали песню, состоящую всего из двух слов: «Эй мэ!»

Новичков в Батуме узнавали по одному верному признаку: они старательно обходят ковры, боясь их запачкать. Но вскоре они узнавали, что ковры раскатывают на всю ширину улиц именно для того, чтобы поскорее уничтожить на них налет новизны и крикливых, еще не потускневших красок. Тогда приезжие, вместе с коренными батумцами, начинали с наслаждением топтать ковры.

Раздраженные базарным гамом ишаки лягались и тоже издавали звон, — у них на шеях висели гирлянды бубенцов.

Но Батум состоял не только из одного звона. Он состоял из множества вещей, например, из шашлычного чада... Но раньше, чем перейти к этим вещам, покончим со звуками.

Итак, в Батуме, особенно на турецком базаре Нури, вас оглушал калейдоскоп звуков — от ишачьего рыдания и бляения бестолковых баранов до отчаянных криков продавцов кукурузы: «Гагаруз горячий!!», от заунывных стонов муэдзина на соседней мечети до писка дудок за окнами духанов и слезного пения выпивших посетителей: «Где же ты, моя Сулико-о-о?»

Но особенно хороши были в Батуме звуки дождя и гудки пароходов. Длинные батумские дожди пели на разные голоса. Чем сильнее был дождь, тем выше он звенел в водосточных трубах. Пароходные же гудки были преимущественно одноголосые и баритональные, особенно у иностранных наливных кораблей с желтыми трубами и мачтами.

Они вползали, покрикивая, в живописные трущобы нефтяной гавани, швартовались впритык к духанам, складам и лачугам и нависали над шумной и тесной набережной своим рангоутом и такелажем. Как будто к берегу прибило стадо огромных железных китов.

Желтизна пароходных труб и мачт соединялась в моем представлении с песками аравийской или сомалийской пустынь и с Красным морем, где эти корабли неизбежно должны были проходить.



Иногда «иностранцы» подходили к Батумскому порту, неся на гафеле желтый флаг. Это означало, что пароход по пути в Батум заходил в приморские порты, где никогда не затихала эпидемия холеры или оспы, чумы или дизентерии. Такой пароход уводили на рейд, ставили в карантин и окуривали трюмы серой.

Что касается запахов, то чаще всего побеждал чад баранины. И это очень жаль, потому что другие батумские запахи были гораздо приятнее этого чада. Но они редко могли через него прорваться.

Этот чад, въедливый, шершавый, саднящий горло, был хорош только тем, что напоминал о батумских шашлыках, пожалуй, лучших на Кавказе.

Их жарили на древесном угле, нанизанными на стальные шампуры, потом посыпали кислым порошком барбариса или корицей, обкладывали зеленым луком и ели со свежим лавашом, запивая белым вином. Мне кажется, что ничего

более вкусного я никогда еще не ел в своей жизни.

На втором месте стоял запах свежесмолотого и только что сваренного кофе. Мололи его на турецких мельницах — медных, похожих на маленькие гильзы от снарядов. Снаружи эти мельницы были украшены чеканкой. Иной раз они изображали сцены из «Тысячи и одной ночи».

Мельницы эти превращали кофейные зерна в тончайшую пудру.

Запах кофе вызывал у меня одновременно представление о Востоке и Западе. И восточные и западные страны одинаково пахли кофе.

Что касается старой Европы, то она была просто неотделима в мыслях от горячего кофейного пара и от тех запахов, которые часто сопутствовали кофейному, — пароходного дыма, хрустящего утреннего хлеба, укропа, перезрелых роз и табака.

Европа часто виделась мне в полусне по утрам, как далекий берег. Он поблескивал над невысоким валом розовеющего пенистого прибоя дряхлыми стеклами своих городов.

Прибой, поднявшись, падал, грохоча, на пески. Водяная пыль оседала на листья платанов, и в прохладе садов открывался как будто зна-

комый и вместе с тем незнакомый город. И я гадал, что это за город: Анкона или Чивитта-Векия, Бордо или Роттердам.

Батум для меня, впервые попавшего к самым южным границам страны, был городом необыкновенным, экзотическим, типично восточным.

Он тоже пропах кофе, вином и мандаринами.

В то же время в Батум приходило из близкой Турции — из Ризе и Трапезунда (в Батуме говорили — Требизонда) — много фелюг с апельсинами и мандаринами. Пахучие цитрусы были навалены пирамидами на палубах фелюг, разноцветных, как пасхальные писанки.

Я часто видел одну и ту же картину: на апельсинах, прикрытых циновкой, полулежали старые турки и пили, причмокивая, из крошечных чашечек густой ароматический кофе.

Запах кофе распространяли не только фелюги, но и мелкая галька на берегу. На ней лежала кайма кофейной гущи. На этой кайме выделялись разные оранжевые лоскутки мандариновых корок.

По вечерам фелюжники молились, сидя на горах апельсинов, обернувшись на юго-восток, в сторону Мекки, вскидывая руки и припадая лбом к холодным апельсинам.

Там, где лежала Мекка, клубилась лиловая мгла, еще не прорезанная огнями звезд. Фелюжники верили, что за этой мглой льется райская река с лазурной водой — «река всех рек» Ковсерь.

Мне тоже хотелось бы верить в это, но мое сознание уже не могло вернуться к детским временам. Рост сознания был безостановочен и необратим, и это его свойство казалось мне могучей силой в деле развития человеческой культуры.

В то время я нелепо считал, что каждая новая мысль или крупица знания, приобретенная мною, является вкладом в общий итог культуры.

Да, Батум и батумский порт пахли мандаринами, нефтью и тиной.

Тина в изобилии висела темно-зелеными, почти черными космами на портовых сваях. Несмотря на то, что ее непрерывно прополаскивала морская волна, тина не делалась от этого светлее и не теряла свой аптекарский запах.

В самом городе, подалее от порта, особенно на Приморском бульваре, напоминавшем променады Сингапура или Бомбея, стоял приторный запах магнолий, а за городом, по дороге на окраину Батума Барцхану, где жили Синявские, пахло из-за пыльных колючих изгородей шиповником.

### «ЭТО НЕ МАМА»

Люсьена и Миша Синявские встретили меня в Батуме на пристани. Потом прибежал запыхавшийся Бабель. Он жил за городом, на Зеленом мысу, и приезжал в Батум на дачном поезде.

Синявские снимали маленькую застекленную террасу в Барцхане. Я поселился вместе с ними.

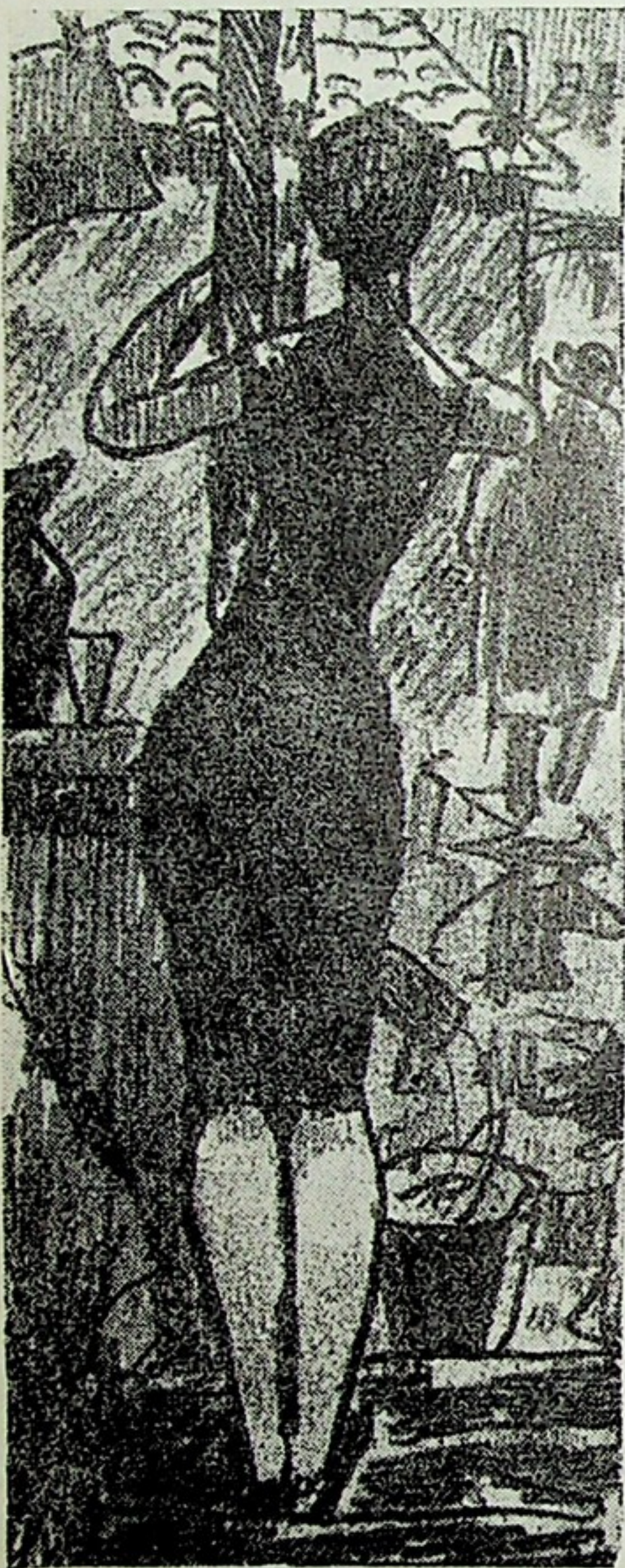
Так началась наша совместная жизнь — очень беззаботная, несмотря на то, что мы висели на волоске. Ни у Синявских, ни у меня не было денег, а у меня к тому же не было и «определенных занятий». Были только смелые планы.

Я надеялся, что мне удастся открыть в Батуме морскую газету вроде «Моряка».

Я просто тосковал по «Моряку». В то время я уже был захвачен газетной работой, ее горячими темпами, ее стремительным движением, ее тесным соприкосновением с бурлящей, ни на миг не затихающей жизнью народа, всей страны, всей Европы, всего мира.

Новые идеи, ворвавшись в сознание после революции, делали нас всех даже в собственных глазах представителями передового поколения. Оно приняло на себя великую задачу преобразования действительности.

Мои надежды открыть в Батуме «свою», как я тогда говорил, газету, объяснялись тем, что побережье Черного моря от Гагр до Батума было в ведении Союза моряков Грузии. Моряки эти, конечно, мечтали о собственной газете. Но пока что дальше моих разговоров об этом с комиссаром Союза моряков эстонцем Нирком дело не двигалось.



В утро моего приезда Миша Синявский вынул из фанерного шкафчика бутылку водки. На белой этикетке была изображена добродушная корова и было написано, что водка эта изготовлена на батумском заводе Артемия Рухадзе. Люсьена зажарила камбалу. Мы съели эту камбалу с мандаринами, запили водкой Рухадзе и были счастливы.

Счастливому нашему настроению способствовало все, что нас окружало, — прежде всего сознание, что мы в субтропиках, где льется теплый дождь и где небо так густо обложено теплыми тучами (был уже октябрь), что сумерки висят над землей весь день. В их глубине медленно и торжественно раскатывало свои волны, добегая почти до порога нашей террасы, Черное море.

Мимо нас ехали арбы, нагруженные темно-лиловым виноградом «изабелла». У этого винограда, как мне тогда казалось, был вкус Испании.

Река Барцхана, бежавшая, курчавясь, на камнях за частоколом нашего дома, несла в море желтые и пурпурные виноградные листья. В горах темнели старинные русские форты. Земля пахла кустарным вином.

После еды мы пили кофе. Люсьена заняла его у соседки-турчанки.

За кофе мы курили сухумский табак, вспоминали Одессу, и жизнь была прекрасна, как никогда. Особенно от запаха прибоя, шумевшего под бесшумным дождем.

Миша Синявский — высокий, несколько угрюмый и насмешливый человек, полный меткого юмора, — придумал хорошее занятие. На стене своей террасы он повесил объявление, что делает увеличенные портреты с фотографий и притом даже в красках.

К его удивлению, заказчик появился не только из Барцханы, но даже из Махинджаур и самого Батума!

Заказчик был простодушен, как дитя. Он относился к работе Миши, как к непостижимому чуду, как к божьему дару. Получая готовый пор-

трет, он держал его осторожно, цокал от восхищения языком, качал головой и безропотно платил одну турецкую лиру (советских денег в ту пору в Батуме было еще мало, а грузинские бонны не имели уже цены).

Одной лиры нам хватало на три дня. Но очень скоро в Батуме действительно открылась морская газета «Маяк», я тоже начал зарабатывать, и наша жизнь на дырявой террасе приобрела некоторые черты изобилия. Измерялось оно количеством мандаринов, папирос и банок со сгущенным кофе.

Однажды пожилой грек Яни, сапожник с базара Нури, заказал Мише портрет с фотографии своей мамы. И притом в красках.

Я рассмотрел фотографию и выяснил, что мама снималась в городе Воло в Греции в 1880 году и была невиданной красавицей. Она была похожа на ту гордую девушку во фригийском колпаке, что зовет людей на баррикады на картине Делакура «Свобода на баррикадах».

Множество медалей, полученных фотографом Метаксосом (из Воло) и изображенных на обороте этой фотографии, веселило меня.

Я даже как будто видел этого низенького, витиеватого и прыщавого грека на высоких каблуках и в галстучке бабочкой. Он был, конечно, неслыханно галантен, как в самом Париже, и снимал клиентов в лимонного цвета лайковых перчатках (тоже, как в самом Париже), чтобы ошеломить их провинциальные мозги и заставить раскошелиться.

Во время работы Миша любил сочинять о своих заказчиках всякие нелепые истории, чаще всего их биографии.

Люсьена готовила во дворе на мангале икру из синеньких или сациви (у нас теперь хватало иногда денег даже на сациви), обдергивала на груди короткую, расползавшуюся по швам кофточку и добавляла некоторые натуралистические подробности к этим словесным Мишиным портретам.

— Ты забыл рассказать, — кричала она, — что этот твой красавец Метаксос носил розовые кальсоны цвета зардевшейся невесты. Они были вдвое шире его размера, и он застегивал их заржавленной английской булавкой!

Однажды нас застал за этим занятием Бабель. Он тотчас включился в игру и рассказал с необыкновенной пунктуальностью, какой Метаксос дурак.

Мы съели сациви, выпили бутылку водки «с коровой», после чего дощатая и хлипкая терраса показалась мне самым прекрасным местом для бесед, смеха и глубокого приморского сна.

Мы все были переполнены тогда верой в будущее и ощущением новизны своего времени.

Даже дождь, лупивший изо всей силы по стене, казалось, участвовал в наших разговорах.

А когда я выпивал немного больше, чем следует, мне начинало казаться, что дождь подслушивает нас, перестукивает на старой пишущей машинке все, что мы говорим, и из этой записи получится в конце концов интересная книга.

Разговоры не мешали Синявскому работать. Портрет «мамы» он сделал такой, что от него, действительно, трудно было оторваться. Особенно хороши были золотые глаза и немного приоткрытый рот. Казалось, что грудь гречанки тихо вздымается и с ее губ слетает душистое дыхание.

— За такой портрет, — сказал Бабель, — не грех взять и четыре лиры. Смотрите, Миша, не обмишурьтесь.



Наутро Миша понес портрет заказчику. Я пошел вместе с ним. Мы решили потребовать с сапожника три лиры. Потом остановились на двух.

Пожилой сапожник Яни жил в глубине ветхого и как бы театрального двора. Там носились с азартными криками греческие дети. Полные гречанки, положив на подоконники свои могучие груди, смотрели на нас из окон и посмеивались, обсуждая нашу наружность.

Сапожник Яни сидел во дворе у дверей своей лачуги. Рот его был полон деревянных гвоздей. Он выплюнул их и сказал нам «кала мера».

Миша, не торопясь, вынул портрет и, не выпуская его из рук, повернул лицевой стороной к сапожнику.

Тогда произошло величайшее чудо, какое может сотворить только высокое искусство, только живопись, равная по силе творениям лучших мастеров человечества, таких, как Боттичелли, Рафаэль или Вермеер Дельфтский: Яни взглянул на портрет и зарыдал.

У себя за спиной мы слышали возбужденные возгласы гречанок, лежавших на подоконниках.

Я, не меньше сапожника восхищенный Мишиным искусством, все же не потерял здравого смысла, толкнул Мишу в бок и тихо сказал:

— Бери три лиры.

Мы ждали, когда Яни успокоится. Но он долго сморкался в фартук, всхлипывал и вытирал глаза рукавом.

За его спиной стояла маленькая и черная, как пережженная корка ржаного хлеба, женщина и тупо смотрела на мамин портрет. Это была жена Яни. Она не выражала восторга.

Наконец Миша решился, и уважая сыновние чувства Яни, мягко напомнил ему, что мы ждем и нам следует получить с него три лиры.

Тогда Яни начал качаться, как мусульманин, когда он совершает намаз, или гяур, когда у него болят зубы, обхватил голову руками, застонал и сказал злым и жалобным голосом:

— Это не мама! Это совсем не мама! И вы получите ничего, потому что вы обманули бедного человека.

Мы оторопели. Во всем дворе наступила звенящая тишина. Двор ждал дальнейших событий.

— Как не мама? — спросил потрясенный Миша.

— Не мама! — закричал Яни и стукнул колодкой по табурету. Во все стороны полетели деревянные гвозди. — Мама была старенькая, седая. Я ее хорошо помню. Она умерла, когда мне было семь лет, а старшему брату было пятьдесят. А ты что сделал? Ты нарисовал какую-то девчонку-арфистку из ресторана «Мирамаре». Тьфу и тьфу! Забирай свой портрет и уходи. Еще требуешь три лиры. Три фиги ты получишь за этот портрет — аферист! — а не три лиры!

Яни три раза показал Мише кукиш. Этого нельзя было вынести и нельзя было спустить безнаказанно.

Миша побзгровел, схватил Яни за ворот, заставил встать и, пьянея от ярости, сказал тихо, но так, чтобы было слышно во всем дворе:

— Ты что же? Подсунул мне карточку мамы, когда ей было шестнадцать лет, и хочешь, чтобы я сделал тебе столетнюю старуху?! Плати сейчас же, или я вытряхну из тебя душу.

— Это не мама! — снова пронзительно закричал Яни и начал извиваться в руках у Миши, пытаясь вырваться.

Несмотря на серьезность положения и угрозу остаться на время без хлеба, я прислонился к стволу сухой шелковицы во дворе и начал хохотать.

Тогда Миша выпустил сапожника, повернулся к окнам, где гроз-  
дьями висели жильцы, и крикнул:

— Граждане греки! Потомки великих людей! Что же вы смотрите на это безобразие!

Тотчас поднялась буря. Из всех окон и дверей десятки голосов закричали:

— Яни, опомнись! Это же мама! Вылитая мама! Глупец! Настоящая мама! Сейчас же заплати человеку! Слышишь?

Несколько мужчин в одних жилетах выбежали во двор. Они тряс-ли Яни за плечи и кричали:

— Ты позоришь всех нас, Яни! Стыдись! Это же чистая мама. Нам будет просто приятно видеть ее каждый день. Такая красивая греческая женщина! Ай, какая красивая! Плати деньги и успокойся. Плати!

— Три лиры? — прохрипел с недоумением Яни и обвел всех покрасневшими глазами. — Не дам!

— Хорошо! — закричали греки. — Две лиры! Две! И пусть они уходят себе на здоровье, эти молодые люди.

Яни швырнул на стол две лиры. Миша взял их, и мы пошли, провожаемые дружными напутствиями обитателей дома.

Через полчаса выяснилось, что одна лира была фальшивая.

Вообще, поддельных лир ходило по Батуму гораздо больше, чем настоящих. Поэтому в Батуме завели обыкновение при расплате писать на лирах свою фамилию, чтобы в случае подсунутой фальшивки вас можно было найти.

Но все лиры были уже так густо исписаны, что на них часто не оставалось живого места. Временами нельзя было даже разобрать достоинства денег. Особенно если во всех этих многочисленных автографах попадалась хотя бы одна надпись, сделанная химическим карандашом и расплывшаяся от дождя или хозяйского пота.

Но нам было не до того, чтобы требовать от сапожника подписи, и мы ушли, махнув рукой.

Дома был созван совет с участием Люсьены. Миша сказал, что будь он четырежды проклят, если еще хоть раз возьмется за увеличение фотографий. Всю жизнь он мечтал быть художником-архитектором, подобно Пиранези, чтобы работать в той же манере и довести ее до совершенства, а не писать портреты длинноносых восточных сапожников и их мам.

Люсьена сказала, что Миша — чудный парень, но как же они будут жить дальше.

Внезапно у меня появилась счастливая мысль. На нее натолкнуло меня посещение духана «Бабуля по рецески».

Это название, коряво написанное на куске картона разноцветными карандашами, было загадочным и требовало лингвистических изысканий (или, как говорил Миша, «раскопок»), чтобы установить его происхождение.

Помог нам расшифровать вывеску духана батумский поэт Чачиков, изысканный, хотя и изрядно потрепанный рыцарь и бывший корнет. Он познакомился с Люсьеной на базаре и с тех пор непрерывно и притворно волочился за ней, прижимая обе руки к сердцу. На его руках висели тяжелые четки из черного янтаря.

Чачиков писал футуристические стихи о своем кавалерийском прошлом. Я запомнил некоторые из них. Однажды он читал их нам на Барцхане, сидя верхом на стуле и похлопывая стеклом по лакированным крагам:

Что мне Аполлон и разные музы!  
Я сам Аполлон в галифе!



В общем, он был добрый и храбрый малый, хотя и хвастун. Он любил рассказывать о своем детстве, проведенном якобы в Персии, в городе Моссуле. При этом он восклицал:

Хвала тебе, муслиновый Моссул,  
Приют моих давно истлевших предков!

Чачиков без всякого труда расшифровал название духана.

— Бабуля, — сказал он, — это местное название рыбы барабули, или султанки. Самая вкусная рыба на Черном море. «По рецески» — это значит «по-гречески». Итак, вы сами догадываетесь, что полное название переводится так: «Султанка по-гречески». Этим блюдом славится вышеназванный духан.

Сидя однажды в этом духане, я заметил на стене над своим столиком портрет Кемаль-паши, вырезанный из газеты. Вокруг Кемалья детская рука нарисовала венок из полевых маков.

По-моему, Мише надо было переходить на портреты Кемаль-паши. В Батуме совсем не было ни портретов, ни фотографий Кемалья. И не надо корпеть над пожелтевшими карточками, а потом иметь дело со вздорными родственниками. У Кемаль-паши, очевидно, родственников в Батуме не было.

Наконец, вряд ли в городе нашелся бы хоть один человек, который его видел своими глазами.

Миша согласился. Началось с того, что он нарисовал Кемалья в профиль и подарил этот портрет хозяину духана «Бабуля по рецески».

Успех предприятия с портретом Кемалья, как говорится, превзошел все ожидания. Заказы посыпались со всех сторон. Люсьена разработала тариф: за портрет в профиль тушью — одна лира, за анфас — две лиры, за портрет в красках — три лиры, за портрет, изображавший Кемалья на вороном коне, — четыре лиры, и, наконец, за портрет, где Кемаль скачет на поле боя по трупам убитых врагов, — пять лир.

В то время как раз происходила греко-турецкая война, задевшая мимоходом и Батум. Но об этом после.

Миша так набил руку на Кемале, что мог рисовать его с закрытыми глазами. Снова некоторое изобилие вернулось к нам на террасу на Барцхане.

Но я к тому времени уже начал редактировать морскую газету «Маяк» и переехал в город. Мне дали комнату в «Бордингаузе» — гостинице для матросов, отставших от своих пароходов.

### МАЯЧНЫЙ СМОТРИТЕЛЬ

Мы любим охранительный свет маяков, но редко вглядываемся в него.

На огни маяков пристально смотрят только вахтенные и штурвальные, проверяя тайну его световой вспышки. Потому что все маяки на одном и том же море горят и мигают по-разному, чтобы по этим признакам можно было определить, какой это маяк, и узнать, где находится корабль.

Так годами горел Батумский маяк, и мало кто интересовался жизнью одинокого его смотрителя Ставраки. Тем более, что из города маячный огонь был плохо виден. Свет он бросал в сторону моря.

Ставраки был знатоком маячного дела. Он первый принес в редакцию «Маяка» статью (в ней говорилось о каких-то новых маячных лампах).

Ставраки посидел полчаса и ушел, оставив у всех нас — Бабеля, Ульяновского и меня — впечатление неприятного и циничного человека.

Твердая седая щетина торчала на его желтых щеках, а воспаленные глаза говорили о многих бутылках водки, выпитых за последние дни.

Одет он был небрежно и весь измят, будто сутками валялся на постели, не раздеваясь.

Он часто кашлял тяжелым махорочным кашлем. Тогда по его изрытым щекам сползали слезы.

Он невзлюбил Бабеля, его острые глаза и однажды зло сказал мне. — Чего он смотрит на меня, этот очкастый! Ненавижу смотрельщиков. Ловец человеческих душ! А что у меня на душе — ни один дьявол не знает. И он не узнает. Бьюсь об заклад. Может, я старый вор? Или убийца? Или торгую девочками? По таксе. Или самый умильный дедушка? Пусть поломают голову.

В другой раз он сказал:

— Чтобы быть смотрителем маяка, нужно забыть начисто прошлое. Тогда вы никогда не упустите зажечь фонарь.

— А бывали случаи, что маяки не зажигались? — спросил я.

— Только, если смотритель умирал, — ответил Ставраки и усмехнулся. — Или сходил с ума. И если при этом он был совершенно один на маяке, как, скажем, я. И его некому было сменить. Ни жене, ни дочери.

— А у вас есть семья? — спросил я и тотчас почувствовал, что допустил непонятную еще мне самому бестактность.

Он ответил мне грубо и раздраженно:

— Если вы, молодой человек, хотите поддерживать общение с людьми, то не вмешивайтесь в чужие дела. Возьмите лист бумаги и запишите на нем все темы, которых не следует касаться из праздного любопытства.

— Грубость, — сказал я, — не делает чести никому.

Ставраки вынул из кармана бушлата плоский флакон от одеколона, хлебнул из него несколько глотков, потом, прищурившись, посмотрел на меня и сказал наставительно:

— Выспренно разговариваете. Разница наших возрастов обязывает вас к уважительному поведению. А что касается чести, то откуда вы знаете, что она у меня есть? Может быть, ее не было, нет и не будет. И у меня и у вас. И вообще, что такое честь? Осчастливьте нас, напишите для моряков побережья Гагры — Батум статью на эту тему в вашей листовке. Тогда мы, может быть, и пойдем.

В это время вошел Ульяновский.

— Приветствую вас, кригсгефангенн, — бросил в его сторону Ставраки. — Вот, например, — он повернулся ко мне, — этого юношу и я и вы считаем честным только потому, что ни черта о нем не знаем. Честность — это незнание.

— Дешевые интеллигентские разговорчики, — спокойно сказал Ульяновский, но я заметил, как нервный тик дернул его губы. — Философия запивох!

Ставраки медленно взял со стола пустую бутылку от водки, повертел ее, внимательно рассмотрел этикетку и вдруг стремительно замахнулся бутылкой на Ульяновского. Я схватил его за рукав кителя. Он вырвался, повернулся к распахнутому настежь окну и изо всей силы швырнул бутылку в трубу на соседней крыше. Бутылка раскололась. По крыше полились, перезванивая, осколки.

— Я целю верно, — сказал Ставраки. — Даже слишком. — Он быстро повернулся и вышел.

— Психопат! — сказал я.

— Нет, — ответил мне Ульяновский. — Не психопат, а негодяй. За это я могу поручиться.

Я запротестовал, но Ульяновский не захотел со мной спорить.

Когда я схватил старика за рукав кителя, послышался треск, — должно быть, ветхий китель не выдержал и порвался. Сейчас мне было стыдно, что я порвал китель у этого несчастного человека. Я готов был догнать его и извиниться.

Через несколько дней я возвращался на катере в Батум из поездки в Чакву. Был уже вечер. Море, как всегда в сумерки, уходило в безбрежную мглу, и казалось, что катер испуганно стучит мотором на краю тихой бездны. Маяк на конце мола тоже низко висел над глухой водяной пустыней, как последнее прибежище человека.

Слабый огонь светился в одном из окон маяка. Над ним победоносно и хищно сверкал маячный огонь, как бы бросая вызов ночной стихии.

Я вспомнил о Ставраки. О чем он думает, сидя один на маяке: перебирает ли в памяти свою молодость, свое прошлое, как засохшие полевые цветы, или в который раз читает какую-нибудь книгу, отыскивая в ней утешение для своей неудачливой жизни?

Я снова пожалел старика, но на следующее же утро жалости этой был положен конец — неожиданный и страшный.

Оказалось, что смотритель Батумского маяка Ставраки был именно тем лейтенантом Черноморского флота Ставраки, который в марте 1906 года расстрелял на острове Березань лейтенанта Шмидта.

В ту ночь, когда я проплывал на катере мимо маяка, Ставраки был на рассвете арестован и тотчас предан суду.

Подчиняясь какому-то внутреннему требованию и чувству отвращения, я собрал у себя в редакции рукописи статей Ставраки и сжег их. Если бы было можно, я сжег бы свою руку, пожимавшую руку Ставраки. Во всяком случае, я выбросил из редакции в коридор старую садовую скамейку на чугунных ножках, на которой сидел Ставраки, и притащил взамен несколько табуреток.

Не знаю, кто из писателей, кто из великих знатоков человеческих душ мог бы написать о черной душе Ставраки, мог бы проследить извилистый путь подлости в мозгу и в сердце этого человека. Может быть, Бальзак? Или Достоевский?

«Нет, — думал я, не засыпая по ночам и задыхаясь от того, что вот тут, в этой комнате, сидел недавно этот человек. Тьма казалась мне до сих пор пропитанной его кислым дыханием алкоголика и курильщика. — Нет, не Достоевский! Конечно, он мог бы написать о нем, но никогда бы не захотел. Никогда! Потому, что слабое мерцание человеческой доброты могло бы навсегда погаснуть в измученном сердце от прикосновения к жизни Ставраки».

Эта жизнь была сплошной черной изменой. И выросла эта измена из сплошных пустяков: из желания носить лишнюю звездочку на погонах, покрасоваться перед женщинами, из рабьего страха перед всяческой властью — от дворника до императора, из страсти жить богато, беспечно, ни над чем не задумываясь, обсасывая жадно, как жирную ножку рябчика, и заменяя любовь насильем над хорошенькими горничными. Если это было, конечно, безопасно.

Ставраки окончил вместе со Шмидтом Морской кадетский корпус.

Все школьные годы они просидели на одной парте. И все эти годы Ставраки мучился завистью к Шмидту.

Он завидовал его благородству, смелости и его способности к самопожертвованию. Он завидовал ему, как будущему герою, трибуну, вождю.

Он знал, что Шмидт способен на это и что эти его качества, если захочет жизнь, дадут Шмидту всемирную славу.

В то время уже Максим Горький бросил свои слова о людях, подобных слепым червям, и Ставраки ненавидел этого «волжского босяка» за то, что он как будто заглянул ему, блестящему гардемарину, в самую совесть и презрительно отвернулся от него.

Когда Ставраки и Шмидт прощались после окончания корпуса, Шмидт сказал Ставраки:

— У тебя, Миша, нет в душе никакого стержня.

— Нет, есть! — сердито ответил Ставраки. — Что у тебя за манера — залезать в чужую душу!

— Если и есть стержень, — добавил Шмидт и внимательно посмотрел на Ставраки, — то не железный, а резиновый. Смотри, не сковырнись в какую-нибудь гадость. Пока не поздно.

— Мое дело! — ответил вызывающе Ставраки. — Во всяком случае, я не женюсь на проститутке, чтобы спасти ее и лить вместе с ней слезы над ее печальным прошлым, как собираешься сделать ты!

— Довольно! — гневно сказал Шмидт. — У каждого своя дорога. Я могу только молить бога, чтобы наши дороги больше никогда не встречались.

Так они расстались, чтобы встретиться на острове Березань в день расстрела.

Откуда-то, из окаянных степных далей, сочился угрюмый, холодный рассвет. Шмидта и матросов высадили с катера и повели к столбам, врытым в землю.

Командовал расстрелом лейтенант Ставраки.

Когда Шмидт проходил мимо него, Ставраки стал на колени и сказал:

— Прости меня, Петя, если можешь!..

— Встань, Миша! — не останавливаясь, ответил Шмидт. — Не паясничай! Лучше скажи своим людям, чтобы они целили вернее.

Что было у него на душе? Очевидно, ничего, кроме желания поскорее отделаться от Шмидта, от этого живого укора. Но с этой минуты Шмидт уже мешал Ставраки жить и чувствовать себя устойчиво и ладно.

Ставраки встал, торопливо отряхнул пыль с брюк и закончил расстрел быстро и как-то напропалую, стараясь не взглянуть на Шмидта, прячась за спинами казаков.

И глупая и теперь уже совсем ненужная мысль мучила его до тех пор, пока Шмидт не упал лицом вниз, на землю: знает ли он, что Ставраки был единственным офицером Черноморского флота, добровольно согласившимся расстрелять Шмидта? Все офицеры, даже самые отъявленные монархисты, решительно отказались от этого.

Вскоре Ставраки заметил, что его сослуживцы всячески старались не подавать ему руки.

С тех пор он старался служить и жить незаметно, начал избегать людей, дожил до революции, бежал из Севастополя и при меньшевиках начал работать смотрителем Батумского маяка и так и остался им до прихода Советской власти.

Но я вижу, что мне придется в некоторой части повторить печальную историю лейтенанта Шмидта. Я писал однажды о ней и поэтому

прошу читателей, если будут какие-нибудь совпадения, простить меня. Проза, как сама жизнь, велика и разнообразна. Иногда бывает нужно вырвать из старой прозы целые куски и вставить их в новую прозу, чтобы придать ей полную жизненность и силу.

В деле Ставраки было одно странное обстоятельство: никто не мог понять, почему он жил до самого ареста под своей настоящей фамилией, а не переменял ее тотчас после революции. Когда следователь спросил его об этом, Ставраки ответил:

— Под любой фамилией меня все равно бы нашли. И чем раньше, тем лучше. И так слишком долго искали!

Даже следователь был озадачен этим ответом и спросил:

— Значит, вы жалеете о случившемся?

— Это не ваше дело! — ответил Ставраки.

Показания он давал скупно, но точно. Оказалось, что у него были родные, кажется, дочь, но он не дал суду ее адрес.

Последнее его слово было коротким и ошеломило всех, кто присутствовал на суде.

— В общем, — сказал он глухо и вздохнул с облегчением, — слава богу, кончилась эта волынка. Собаке собачья смерть!

Даже судьи вздрогнули и пристально посмотрели на Ставраки. Он стоял, опустив глаза и сосредоточенно выдергивал нитку из рваного рукава своего бушлата. И больше не сказал ни слова.

Мы все были потрясены этим делом. Мы понимали, что Ставраки задал всем сложнейшую психологическую загадку, но никто из нас ее не разрешит. Можно было сказать: «раскаяние», как сказал Синявский, или «чудовищное актерство», как сказал Ульяновский, или «полное и очень давнее душевное опустошение», — так думал я, — то опустошение, что жгло его изо дня в день, из часа в час и превратило жизнь в каторгу.

Так мы ни до чего и не договорились. Бабель уехал со всей семьей в Тифлис. Маяк продолжал сверкать над морем.

Однажды я спросил Нирка, не было ли такого случая, что маяк не был зажжен вовремя.

Нирк ответил, что такой случай действительно был и сравнительно недавно. На телефонные вызовы маяк не отвечал, а когда к нему пошел катер с портовыми властями, то маяк загорелся, и катер возвратился в порт, так и не узнав причину опоздания с маячным светом. Очевидно, смотритель был пьян. За это его давно хотели сменить, но не было на примете подходящего знатока.

Меня всегда удивляет одно обстоятельство: мы ходим по жизни и совершенно не знаем и даже не можем себе представить, сколько величайших трагедий, прекрасных человеческих поступков, сколько горя, героизма, подлости и отчаяния происходило и происходит на любом клочке земли, где мы живем. Мы просто не подозреваем об этом.

А между тем знакомство с каждым таким клочком земли может ввести нас в мир людей и событий, достойных занять свое место в истории человечества или в анналах великой, немеркнувшей литературы.

К примеру, никто не подозревает, что Батумский маяк связан с одной из больших трагедий, с гибелью лейтенанта Шмидта, с предательством по отношению к нему.

Только иногда, в бесконечные осенние ночи, когда море гнало к берегам стада разъяренных и неутомимых в своей ярости волн, мрак вокруг маяка казался гораздо гуще, чем всюду. Нечто тяжелое, безвыходное было в этом мраке.

От него хотелось уйти в тепло комнат, где спят, доверчиво приоткрыв губы, маленькие дети и мир тихо живет, очерченный световым кругом лампы.

Никто бы не поверил, если бы ему сказали, что вот этот вздохнувший от сладкого сна мальчик с пушистыми волосами или эта девочка, заплакавшая почему-то во сне, через несколько лет могут стать предателями, негодьями, убийцами, могут расстреливать невиновных, пытаться их, насилловать свободную человеческую мысль, изобретать атомные бомбы, призывать народы к взаимной ненависти и затевать войны во имя своего преступного властолюбия или звериной жадности.

Никто бы не поверил в это и был бы неправ. Это было горше всего для бедного, испытавшего тысячи тягостей, но честного сердца. И потому мне казалось единственно важным объединение всех людей доброй воли. И, кроме того, создание литературы чистой совести и правды.

Ради этого надо было жить, работать, страдать и не сдаваться.

Шмидт испытал много предательства или, говоря по-старинному, ударов судьбы.

Ставраки попрекнул Шмидта в пылу ссоры в том, что он из соображений ложной гуманности женится на проститутке.

Молодость Шмидта отчасти совпала со знаменитым «хождением в народ», с призывом спасти «падших» женщин и переносить вместе с народом все тягости его существования.

Молодой Шмидт часто бывал в народнической среде Шелгунова и его товарищей. Как человек пылкий, он был сторонником решительных дел, а не решительных разговоров. Поэтому он действительно женился на проститутке, желая ее спасти.

Но с первых же шагов их совместная жизнь пошла вкось — жена Шмидта была даже неграмотной. Шмидт долго, но с очень слабым успехом обучал ее чтению. Но приохотить ее к книгам он так и не смог.

От нее у Шмидта родился сын, совершенно не похожий на отца, ставший впоследствии белогвардейцем. Вскоре Шмидт разошелся с женой, оставив ей все. После его расстрела она спекулировала оставшимися у нее вещами Шмидта и печатала в реакционных газетах объявления: «Продается китель лейтенанта Шмидта», «Продается виолончель лейтенанта Шмидта».

Это было одно из предательств, сопровождавших жизнь Шмидта.

Но самым черным, редчайшим по своей низости было, конечно, предательство Ставраки.

И, наконец, в жизни Шмидта произошла история, похожая на вымысел и вместе с тем очень горькая. Когда-то давно я писал об этой истории со слов сестры лейтенанта Шмидта и по старым материалам, сейчас эта история выглядит несколько иначе.

Вот она, рассказанная сжато.

...Летний день в Киеве. Жара. Увядшие пятипалые листья каштанов. Молодой флотский офицер Шмидт останавливается в Киеве от поезда до поезда, он едет с Дуная в Севастополь.

Я как киевлянин хорошо знаю, что значит летняя киевская скука. Испытал эту скуку и Шмидт. Это та скука, когда из всех домов доносится запах «домашних обедов» и кажется, что все интересное, что может случиться в жизни, отодвинулось за десять тысяч километров. Только шарманка фальшиво высвистывает по раскаленным дворам противную немецкую песенку: «Августен, Августен, ах, майн либер Августен!».

Куда деваться? Оказывается, в Киеве есть бега. Шмидт едет на ип-



подром. Ему повезло: ипподром находится на Печерске, в теплой, вы-сокой и меланхолически пустынной части города.

На ипподроме Шмидт замечает молодую женщину неслыханной, по его впечатлению, красоты. Он романтик. Он часто видел в жизни лишь то, что хотел увидеть.

До сих пор это его устраивало, если не считать нелепой женитьбы и еще других сознательно забытых случаев. Но Шмидт думает, что главная жизнь (а есть еще второстепенная, сделанная из забот и всяческих неприятностей) — это цельные, полные красок, света и наплывающих неведомо откуда прекрасных мыслей и чувств куски живого вещества, оставляющие в душе бесконечный трепет — спутник действительного счастья.

Он полюбил эту женщину с единого взгляда (как мог бы полюбить всех красивых женщин всего земного шара). Он почему-то уверен, что она испанка. Почему? Из-за глубокого блеска глаз и грудного сдержанного смеха. Женщина смеется, и горло у нее вздрагивает, как у певчей птицы.

Испания... Он видел ее берега в кремнистых далях, отрезанные от неба, как мечом, полосой густейшей морской синевы.

Здесь я могу писать очень много, но я обещал короткий рассказ и держу себя за руку.

Шмидт теряет испанку в толпе. Он переживает это, как катастрофу, хотя в глубине души понимает, что нет такой любимой женщины, которую нельзя было бы найти.

Вечером он садится в поезд на Севастополь. Вот тут мой возраст дает мне некоторые преимущества перед большинством читателей. Потому что я много ездил в те времена и хорошо помню, как тогда выглядели вагоны и поезда.

Представьте себе, что вагоны освещались стеариновыми свечами в железных фонарях. Язычки свечей всегда так сильно и разнообразно плясали, что каждый вагон напоминал театр теней. Тени роились, появлялись, исчезали, черты человеческих лиц становились изменчивыми, как отражения в воде. Урод вполне мог рассчитывать сойти за красавца, а красавица — за ведьму.

В поезде напротив Шмидта села женщина. Он вздрогнул, вытянулся, слегка махнул у себя перед лицом рукой, как бы отбрасывая суматошливые тени, и вдруг чьи-то маленькие руки сжали его сердце — да, это была она, испанка с ипподрома. Должно быть, сам бог, в которого он позволял себе не верить, привел ее в этот темный вагон второго класса.

Они разговорились. Женщина ехала в Дарницу, дачную местность под Киевом с вековыми соснами и песками.

Поезд до Дарницы идет тридцать минут. За это время Шмидт бросил всю свою жизнь к ногам этой женщины и с радостью признался самому себе во внезапной любви.

Они обменялись адресами, и женщина сошла, преображенная этим вихрем любви. Потому что нет, должно быть, ни одной женщины, которая не расцвела бы, как редчайший весенний расцвет, зная, что она стала причиной внезапной любви.

Потом Севастополь. Бурный год. Накаленный революцией флот. Судорожная переписка с киевлянкой. Шмидт в своих письмах крылат и порывист, женщина кокетлива и прозаична. Шмидт этого не замечает.

Имя Шмидта — трибуна и вождя — уже гремит по всему миру. Его мужество и преданность народу рождают любовь в миллионах сердец.

— Это — слава! Это — величие!



Но вот восстание, кровь на поверхности севастопольских бухт, — две телеграммы Шмидта, звучащие, как грозный крик и мольба.

Одна телеграмма императору Николаю Второму: «Черноморский флот отказывается подчиниться вашим министрам и требует созыва Учредительного собрания. Командующий флотом лейтенант Шмидт». Вторая телеграмма ей, киевлянке: «Приезжай немедленно. Рисуем не увидеться никогда».

Восстание разгромлено. Шмидт арестован, привезен в тихий Очаков и предан с несколькими матросами военному суду.

К Шмидту в Очаков приезжает его сестра Анна Петровна Избаш. Он просит сестру поехать в Киев, разыскать киевлянку и привезти ее в Очаков: ему легче будет умереть, увидев ее хотя ненадолго перед казнью.

Сестра в отчаянии: идут последние часы Шмидта, а ей приходится уезжать и терять время во имя любви брата к неизвестной женщине.

Но она едет в Киев и узнает от ничего не подозревавшего бывшего мужа киевлянки, что ее нет в городе. Анна Петровна рассказывает мужу все. И таково было обаяние Шмидта и власть его имени, что муж отправляется вместе с Анной Петровной в глушь Полтавщины, находит жену и уговаривает ее поехать к Шмидту.

Шмидту разрешают свидание с этой женщиной. Она входит к нему в камеру, и он на мгновение отшатывается. Потому, что в камеру вошла та женщина, какую он видел в полутемном вагоне в бегающем и тусклом пламени свечи, но совсем не та женщина, которой он писал свои вдохновенные письма. Но все равно, он был бесконечно благодарен ей за то, что она приехала скрасить его последние часы.

Через несколько лет, зимой 1935 года, я встретился в Севастополе с сестрой Шмидта Анной Петровной Избаш.

Из номера «Северной гостиницы», где она остановилась, виднелась артиллерийская бухта, — как раз то место, где Шмидта, бросившегося вплавь вместе с маленьким сыном с горящего и тонущего «Очакова», подобрал миноносец и доставил на корабль «Ростислав». Там Шмидт был арестован.

Седой туман нависал сейчас над Севастополем. Туман этот усиливал ощущение пустынности севастопольских улиц. Они оживали только к вечеру, когда списывались на берег команды кораблей. А в полдень Севастополь был так же тих и пуст, как и ночью.

Передо мной сидела, утонув в мягком кресле, маленькая, тонкая, нервная старушка с необыкновенно доброй улыбкой и крепкими молодыми бровями.

Она говорила о Шмидте, называла его Петрушей, и в ее представлении он был, очевидно, в лучшем случае гардемаринном, если не безусым кадетом.

— Всю жизнь увлекался и не считался с собой, — вот, по ее мнению, была главная черта брата. — Жил ради других, любил матросов, как малых детей, довольно часто жестоко обманывался, но не позволял себе впасть в отчаяние или хандру. Был он очень пылкий, впечатлительный. Весь жил на нерве. На одном нерве. В молодости я тоже чуть-чуть была похожа на брата. Любил книги, стихи, особенно Байрона — его он читал в оригинале, — музыку, детей и морское дело. Особенно почему-то маяки. От него осталась целая коллекция гравюр и фотографий замечательных маяков мира. Втайне даже мечтал быть маячным смотрителем, но обязательно на маяке, далеком от городов. «Черт с ним, — гово-

рил он, — хотя бы даже на Тараханкуте! Днем бы уходил охотиться в степь с ружьем или раскапывал бы, не торопясь, могильник около маяка. Говорили, что он скифский и в нем зарыто много утвари и стрел. Ко- пал бы, сгорал от солнца, легкие у меня просмолились бы от тамошних смолистых трав, а вечером, обмывшись пресной водой, сидел бы в маяч- ной каюте около фонаря и читал бы книги. Но медленно, с карандашом в руках и всяческими думами по поводу каждой книги. Считал бы зака- ты, рассветы, огни пароходов и заносил бы их имена в вахтенный жур- нал.

И спал бы по ночам чутко, прислушивался бы, не начинает ли по- званивать в сигнальный колокол ветер. А в шторм глос бы от рева волн, от клочотания этих бешеных морских сил, от пены, что летит к не- бу, как протуберанцы на Солнце, от крика чаек, — ты заметила, что во время шторма они насквозь пронизывают этими криками, как иглами, мутный воздух. Вот была бы красота, Аня!» В общем, был он самым мирным и незлобивым человеком, и никто из родных и представить се- бе не мог, что он может стать во главе вооруженного восстания.

Когда Анна Петровна уезжала к себе в Ленинград, я провожал ее на уютном маленьком вокзале — том вокзале, где на перроне в двух метрах от горячих вагонов скорого поезда стояли шелестящие тополя в три обхвата. Запах из сухих, оставшихся от осени листьев наполнял воздух и даже заглушал привычный дорожный запах каменноугольного дыма и мазута.

Сейчас я вспомнил, скольких людей я встречал и провожал около этих тополей, ставших с некоторых пор немymi свидетелями жизни.

С этими тополями был неувовимо и непонятно связан в моем соз- нании щемящий романс Гречанинова: «Она не забудет, придет, приголу- бит, обнимет, навеки полюбит и тяжкий свой брачный наденет венец».

Почему я вспомнил этот романс на севастопольском вокзале, не знаю. В его словах скрывалась какая-то томительная надежда на сча- стливую, хотя бы и самую мимолетную любовь и на избавление от оди- ночества. Я часто чувствовал одиночество — смутно и тяжело.

Удивительно, что во время последней войны вокзальные тополя в Севастополе, говорят, уцелели.

### ВЕСЕЛЫЙ ПОПУТЧИК

На улицах Батума я часто встречал маленького человека в рас- стегнутом старом пальто. Он был ниже меня, этот веселый, судя по его глазам, гражданин.

Ко всем, кто был ниже меня, я испытывал дружеское расположение. Просто мне было легче жить на свете, если находились такие люди. Хо- тя и ненадолго, но я переставал стесняться своего роста.

Еще в детстве сердобольная моя сестра Галя, чтобы утешить меня, придумала шаткую теорию о том, что почти все невысокие люди — та- лантливые. Галя приводила много примеров: Пушкин, Наполеон, Лер- монтов, Диккенс, Дюма, Врубель, Шопенгауэр.

Но вся теория Гали летела кувыркoм от одного упоминания имен таких знаменитых великанов, как Тургенев, Христиан Андерсен, Мопас- сан, Чехов и Горький.

Я охотно дружил с людьми небольшого роста, но презирал тех, кто пытался увеличить свой рост особым покроем платья или высокими каб- луками. Например, я признавал талантливость поэта Бальмонта, но не любил его за щегольские штилеты на высоких, почти дамских каблуках.



Однажды я видел его в этих штиблетах в Киеве на его докладе о «колдовстве поэзии».

Маленький человек, бегавший по Батуму, всегда таскал у себя под мышкой зонтик. Карманы его пальто были набиты мандаринами, а в одном из них часто поблескивало горлышко водочной бутылки завода Рухадзе.

То обстоятельство, что маленький человек никогда не расставался с зонтиком, напоминало о знаменитых батумских дождях.

Ни в одном городе России не выпадало столько дождей.

Летом это были ливни, рушившие на крыши реки воды и грохота. Но не эти ливни были характерны для Батума.

Типичными, именно батумскими дождями были непрерывные, монотонные, как будто заводные дожди с запада. Оттуда все время наваливалось на город тучевое небо — рыхлое, гасившее проблески света и погружавшее Батум даже в полдень в мутный сумрак. Казалось, этот сумрак сбегал, журча и плескаясь, по всем водосточным трубам, вливался в пенистое море, растворялся в нем и мутил морскую воду.

Во мгле ревели простуженными сиренами и тускло блестели мокрыми палубами недовольные пароходы. Слабый блеск на их серых, красных, черных и желтых бортах казался остатками далекого солнечного света: он напоминал, что стоит перемениться ветру, и тотчас весь Батум от первых же солнечных лучей засверкает в глазах, как грудa синеватого стекла. К небу понесутся видимые невооруженным глазом струи теплого воздуха и пара от нагрева улиц и домов. И канны — самые заметные цветы батумских палисадников — будут просвечивать в солнечных лучах цветом винной крови.

Дожди в Батуме могли длиться неделями. Мои ботинки никогда не просыхали. Если бы не это обстоятельство, вызвавшее приступы малярии, то я давно примирился бы с дождями.

Все-таки в них было много хорошего. Во-первых, островатый, чуть пахнувший кильками воздух. Во-вторых, торжественная оратория нескольких тысяч водосточных труб, согласованно певших по всему городу. В-третьих, серый низкий свет и зажженные днем лампы. Свет ламп во время таких дождей кажется уютным, помогает читать, а то даже и вспоминать стихи.

И мы их вспоминали с маленьким человеком. Фамилия его была Фраерман, а звали его в разных случаях жизни по-разному: Рувим Исаевич, Рувим, Рувец, Рува, Рувочка и, наконец, Херувим. Это последнее прозвище придумал Миша Синявский, и никто, кроме него, его не повторял.

Мы вспоминали стихи иногда почти всю ночь напролет в моей комнате-редакции и ложились спать на узкую койку и деревянный диванчик только к утру — голодные, но счастливые.

Да и как можно было оставаться спокойным, вспоминая грозные стихи:

А к полночи восходит на востоке  
Мертвец Сатурн и блещет, как свинец.  
Поистине зловещи и жестоки  
Твои дела, творец!

Людей другого, более зрелого возраста, чем мы с Фраерманом, эти зловещие стихи могли бы ввергнуть в печальные размышления. Для нас же они были примером резкости образа и силы языка. Невольно они дополняли для нас батумскую ночь.

Я даже не то чтобы видел, но чувствовал многоярусные, тяжело-

слоистые, изорванные снизу в лохмотья архипелаги туч, задержанные над Батумом горами Малого Кавказа. Где-то в бесконечной выси мирового пространства сверкал над нами Сатурн, сиял его пепельный свет над лениво клубящейся громадой облачной земли.

Потом мы читали другие стихи — ясные и светлые, как возвращенное солнце:

Измучен жизнью, коварством надежды.  
Когда им в битве душой уступаю.  
И днем и ночью смежаю я вежды  
И как-то странно порой прозреваю.

Еще темнее мрак ночи вседневной,  
Как после яркой осенней зарницы.  
И только в небе, как зов задушевный,  
Мерцают звезд золотые ресницы...

Я всегда любил стихи, но никогда еще они не входили в жизнь с такой естественностью, как тогда в Батуме.

Стихи теряли свою словесную сущность и становились такими же явлениями жизни, как дождь, человеческие голоса, крики измученных ночными дождями ишаков, как рождение и смерть.

Все эти «стихотворные» ночи сопровождал неумолчный гомон дождя, а изредка и шум морских волн, проникавших в порт.

Плеск дождя особенно резко выделял некоторые строчки стихов, и поэтому мы повторяли их по нескольку раз.

Вот некоторые из них:

На темный плющ летят цветы жасмина,  
Как крылья мотыльков.  
Часы текут медлительно и длинно,  
На камне полустертая терцина  
Поет без слов.

Или другие:

Мне холодно. Прозрачная весна  
В зеленый пух Петрополь одевает...

Или третьи:

Немая степь синееет — и венком  
Серебряным Кавказ ее объемлет.

Или, наконец, четвертые:

Вернись обратно, Ветингтон!  
О Ветингтон, вернись обратно!

Эти последние строчки особенно сильно действовали на меня, хотя ничего особенного в них не было. Очевидно, потому, что однажды в Батумский порт пришел с грузом для фирмы «Сосифрос» грязный и безлюдный пароход под английским флагом. На борту его белой краской было написано знакомое имя «Ветингтон».

Почему-то этот пароход вызвал у меня чувство жалости, как промокший под дождем, дрожащий от непогоды неудачник. Но и его кто-то ждал там, в Старой Англии. В каком-нибудь тусклом приморском городке болезненно билось скромное женское сердце, рано постаревшее сердце недавней красотики. Она дожидалась возвращения молчаливого

мужа или сына, плававших на «Ветингтоне», на этом медлительном и застенчивом корабле.

ЭЛН 35340  
3034010033

Фраерман попал в редакцию «Маяка» очень просто.

Для газеты нужны были телеграммы Российского телеграфного агентства (РОСТА). Мне сказали, что для этого надо пойти к корреспонденту РОСТА по Батуму Фраерману и договориться с ним.

Фраерман жил в гостинице с пышным названием «Мирамаре». Вестибюль гостиницы был расписан темноватыми фресками с видами Везувия и апельсиновых рощ в Сицилии.

Фраермана я застал в позе «мученика пера». Он сидел за столом и, схватившись левой рукой за голову, правой что-то быстро писал и при этом тряс ногой.

Я тотчас узнал в нем того маленького незнакомца с развевающимися полами пальто, который так часто растворялся передо мной в дождливой перспективе батумских улиц.

Он отложил перо и посмотрел на меня смеющимися добрыми глазами. Покончив с телеграммами РОСТА, мы тотчас же заговорили о поэзии.

Я заметил, что все четыре ножки кровати в номере стояли в четырех тазах с водой. Оказывается, это было единственное средство от скорпионов, бегавших по всей гостинице и вызывавших оторопь у постояльцев.

В комнату вошла коренастая женщина в пенсне, подозрительно посмотрела на меня, покачала головой и сказала очень тонким голосом:

— Мало я имею мороки с одним поэтом, с Рувимом, так он уже нашел себе второго дружка-поэта. Это же чистое наказание!

Это была жена Фраермана. Она всплеснула руками, рассмеялась и тотчас же начала жарить на керосинке яичницу-глазунью с колбасой.

Она не отпустила меня, пока мы не позавтракали все вместе и не выпили по доброй стопке водки Рухадзе.

Я пил эту водку и удивлялся ее необыкновенному свойству: голова у меня оставалась совершенно легкой, но все мысли, гулявшие в этой голове, казались мне необыкновенными и свежими, как только что распустившийся цветок магнолии на батумском бульваре, и яркими и даже как будто липкими на ощупь, как только что выкрашенная фелюга.

Это было чудесное ощущение. Мы с Фраерманом пошли в редакцию «Маяка», чуть покачиваясь и беспричинно смеясь. По дороге мы встретили Люсьену и Мишу Синявского и потащили их с собой. Жаль, что Бабель уже уехал в Тифлис, а то бы мы пошли пешком к нему на Зеленый мыс и притащили бы к нам и его. И Евгению Борисовну, и Мери, и в придачу поэта Чачикова. И основали бы первое литературное объединение — первую ячейку советской поэзии и прозы на этой отдаленной границе страны.

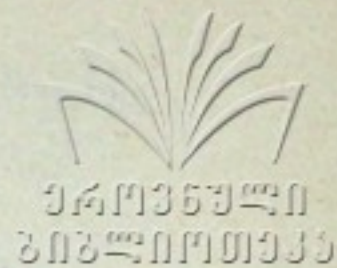
Миша Синявский достал еще одну бутылку водки Рухадзе. Мы пили ее в редакции и пели:

Где седой Казбек  
Навеки уснул,  
Там мой дед имел  
Свой родной аул.

Дед был лют и дик,  
Строен, как джейран.  
Был душой велик.  
Умер все ж от ран.

Когда мы дошли до припева, вошел Нирк и подхватил его с лихостью заправского тамады:

Есть у нас легенды, сказки! Аджан!  
И обычай наш кавказский! Аджан!  
Цинандали выпьем по-кунацки,  
Чтобы жили мы по-братски!



После Нирка в редакцию, поцарапав лапой дверь, пришел Мономах. Он участвовал в общем веселье и сглатывал куски колбасы с таким звуком, будто откупоривал тугие пробки. По всему было видно, что пес опытный в таких делах, как пирушки.

Веселье не утихло даже тогда, когда на многообещающий шум в комнате вошел мертвецки пьяный, но совершенно спокойный американский матрос по прозвищу Джокер. Поплевав на пол и не обращая на нас никакого внимания, он снял пиджак, скатал его валиком, положил в углу на пол и, ни слова не говоря, лег спать. Он проспал до утра и ушел так же молча и спокойно, как и появился.

С тех пор Фраерман забегал в редакцию по нескольку раз в день. Иногда он оставался ночевать.

Все самые интересные разговоры происходили ночью. Фраерман рассказывал свою биографию, и я, конечно, завидовал ему.

Сын бедного маклера по дровяным делам из города Могилева-губернского, Фраерман, как только вырвался из семьи, бросился в гущу революции и народной жизни. Его пронесло по всей стране с запада на восток, и остановился он только на берегу холодного Охотского (Ламского) моря.

Дальний Восток пылал. Японцы оккупировали Приморье. Партизанские отряды дрались с ними беспощадно и беззаветно.

Фраерман вступил в отряд партизана Тряпицына в Николаевске-на-Амуре. Город этот был похож по своим нравам на города Клондайка.

Фраерман дрался с японцами, голодал, блуждал с отрядом по тайге, и все тело у него было покрыто под швами гимнастерки кровавыми полосами и рубцами: комары прокусывали одежду только на швах, где можно было засунуть тончайшее жало в тесный прокол от иглы.

Амур походил на море. Вода курилась туманами. Весной в тайге вокруг города зацвели саранки. С их цветением пришла, как всегда неожиданно, большая и тяжкая любовь к нелюбящей женщине.

Я помню, что там, в Батуме, после рассказов Фраермана я ощущал эту жестокую любовь, как собственную рану.

Я видел все: и бураны, и лето на море с его дымным воздухом, и кротких гиляцких детей, и косяки кеты, и оленей с глазами удивленных девочек.

Я начал уговаривать Фраермана записать все, что он рассказывал. Фраерман согласился не сразу, но писать начал с охотой. По всей своей сути, по отношению к миру и людям, по острому глазу и способности видеть то, что никак не замечают другие, он был, конечно, писателем.

Он начал писать и сравнительно очень быстро закончил повесть «На Амуре». Впоследствии он переименовал ее название на «Васька-гиляк». Она была напечатана в журнале «Сибирские огни». С этого времени в литературу вошел еще один молодой писатель, отличавшийся пронизательностью и добротой.

Теперь по ночам мы не только занимались разговорами, но читали и правили повесть Фраермана.

Мне она нравилась: в ней было заложено много того ощущения, какое можно назвать «дыханием пространства» или (еще точнее) «дыханием больших пространств».

Тяга к большим пространствам появилась у меня с юного возраста. С годами она не затихала, а разгоралась. Чем больше я видел зе-

мель, тем сильнее мне хотелось видеть все новые и новые края. Всякая новая даль существует для меня до сих пор, как огромная синеющая, великая загадка, скрывающая в своей мгле новизну, красоту и радость.

С батумских времен наши жизни—фраермановская и моя — множество лет шли бок о бок, взаимно друг друга обогащая.

Чем мы обогащали друг друга? Очевидно, своим любопытством к жизни, ко всему, что происходило вокруг, самым приятием мира в его поэтической сложности, любовью к земле, к своей стране, к своему народу, любовью очень кровной, простой, вросшей в сознание тысячами самых мельчайших корней. И если корни растений могут пробить землю, почву, на какой они растут, взять ее влагу, ее соли, ее тяжесть и ее загадки, то мы любили жизнь именно так. Я говорю здесь «мы», так как уверен, что у Фраермана отношение к природе походило на мое.

Чем дальше, тем сильнее я чувствовал себя частицей природы, как любое дерево или трава, и находил в этом успокоение.

Иногда, лежа на заросшем береговом откосе какого-нибудь озера или реки, я прислушивался к земле. Ее принято было считать немой, но сквозь эту немоту доносилось тончайшее журчание — неясный намек на длинный, как золотая канитель, и неясный звон. Это где-то глубоко под землей сочилась, пробиваясь к озеру, грунтовая вода.

В такие минуты я был счастлив.

### НОСИЛЬЩИК ТЯЖЕСТЕЙ

В духане я сидел у широкого окна, выходящего на нефтяную воду гавани и на гнилые сваи.

Когда становилось душно, я открывал окно. Запах мазута и мусорной, но прохладной воды наполнял духан, а свежесть осушала потные лбы.

Большинство посетителей духана были муши — носильщики тяжестей. Хозяин духана был в молодости мушой, потом каким-то образом разбогател, но все же сохранил привязанность к своему племени мушей и кормил их со скидкой и в кредит.

Все муши почти круглые сутки толкались в порту. Они ждали случайного заработка. Но его было мало. Его не хватало даже на половину батумских мушей, и потому они большей частью спали, прислонившись к цинковым стенам портовых складов. Все они спали почти в одной и той же позе, — подняв колени и опустив между ними до земли длинные, жилистые руки. То был глубокий сон усталых и голодных людей.

Особенно поражали меня руки мушей. Набухшие жилы были завязаны в узлы, как корни у дуба. Сквозь серую кожу просвечивала темная венозная кровь. Она вздрагивала редкими толчками и, казалось, была готова вот-вот остановиться. Тогда муша, конечно, уже не проснется. Так оно и случалось иногда.

Духан всегда был полон мушей. Когда входил посетитель, муши тотчас уступали ему отдельный столик и начинали говорить вполголоса.

Ели муши мало и медленно. Было видно, что еда для них — долгожданный отдых.

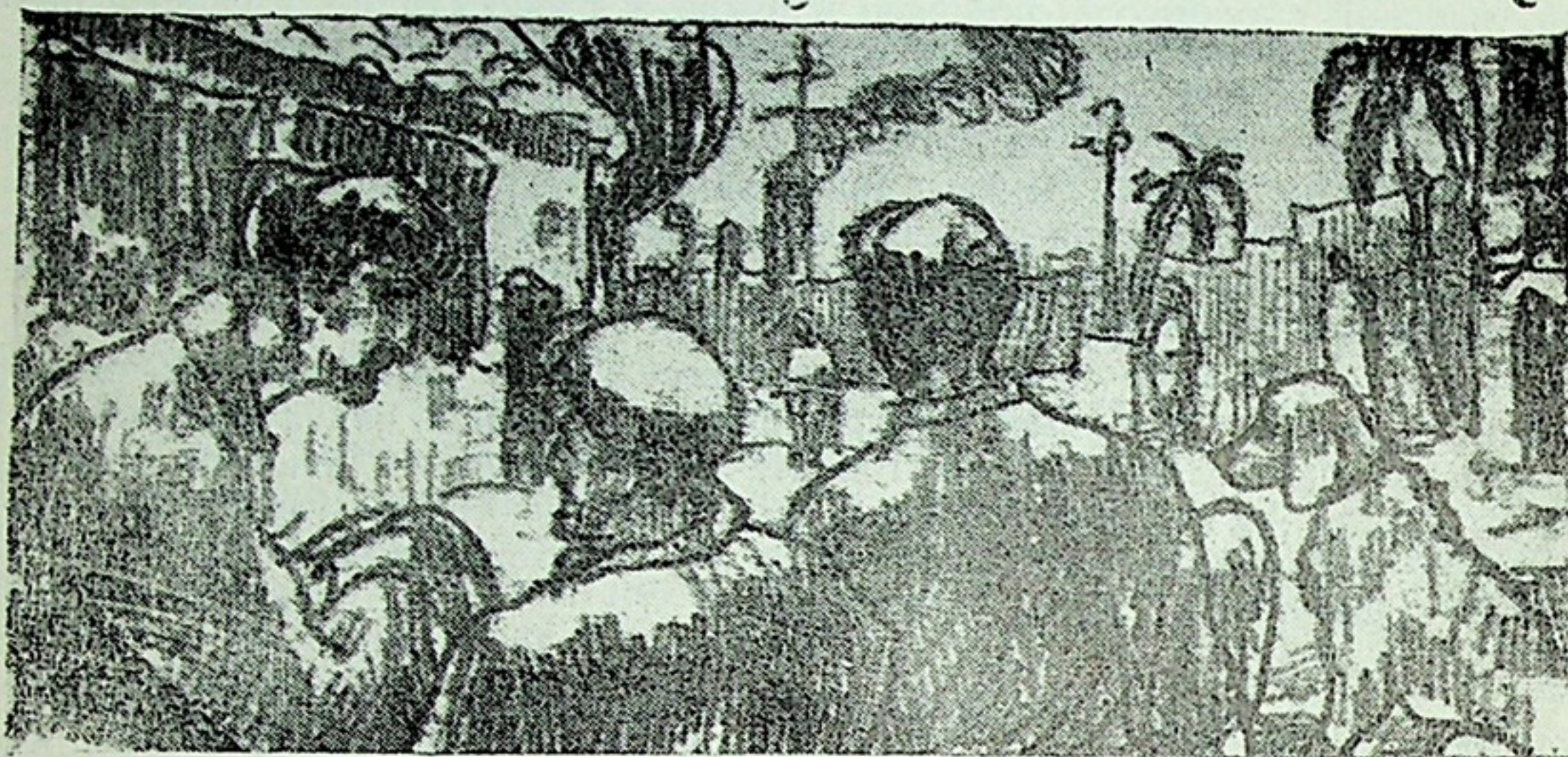
Муши таскали огромные тяжести. Однажды я видел, как низенький, сизый от натуги муша один тащил на спине рояль и только чуть-чуть сгибал в коленях ноги.

Выносливость этих людей, в большинстве крестьян-аджарцев, была неслыханна. И кротость тоже. Более кротких, незлобивых и доверчивых людей я, пожалуй, не встречал в жизни.



Их постоянно обманывали. Никакого объединения у них не было. Каждый помыкал ими, как мог.

Я часто заговаривал с мушами, но они только улыбались в ответ. Единственно, что они позволяли себе, — это глубокий вздох, когда груз уже был сброшен на землю и можно было вытереть тыльной стороной ладони едкий пот на изможденном лице, похожем на треснувшую пережженную глину.



Они никогда не считали денег и, не глядя, засовывали их в карманы широких и пыльных, стянутых у щиколотки шаровар. В этом жесте не было никакой подчеркнутости — просто муши верили людям. А если люди их обманывали, то они долго сокрушались не из-за потери заработка, а из-за существования на земле таких плохих людей — обманщиков. Каждый раз это было для них неожиданностью.

За свою каторжную работу муши получали гроши.

Однажды я видел, как старый муша сидел под стеной и плакал, прикрыв рукавом глаза. Перед ним стояла такая же высохшая, как и он, старуха и что-то ему выговаривала трескуче и сердито.

Старик не отвечал и продолжал плакать. Прохожие пожимали плечами, некоторые останавливались и, горестно покачивая головой, смотрели на мушу.

Тогда старуха беспомощно оглянулась и, махнув рукой, побрела вдоль базарной улицы. Она спотыкалась и что-то шептала про себя.

К старому муше подошел пожилой муша. Он нес ящик с посудой. Он осторожно поставил ящик на землю, легонько похлопал старого мушу по плечу, и тот тяжело встал, как запыленная лошадь. Ноги у него дрожали. Пожилой муша положил ящик на «горб» старому муше, вынул турецкую лиру, отдал старику и еще долго смотрел ему вслед, когда тот тащил ящик в сторону вокзала.

Я понял, что пожилой муша просто передал старику свой заработок, полученный вперед. Кроме меня, никто как будто этого не заметил, а пожилой муша виновато улыбнулся и сказал мне:

— Он мне годится в отцы.

Когда я сидел с мушами в духане, у меня появилась мысль о том, что мушей надо собрать и объединить, и только таким путем покончить с их нищетой и бесправием.

Но как к этому приступить, я не знал. Я боялся всяческой агита-

ции, речей и заседаний. Поэтому решил посоветоваться с опытным профсоюзным работником Нирком.

Нирк долго смотрел на меня смеющимися прищуренными глазами, потом сдвинул свою элегантную морскую каскетку на затылок, снова натянул ее на нос и сказал:

— Плодотворная идея. Особенно в условиях субтропического побережья. Ну что ж, подыдем якорь! За все буду отвечать один я. Вы — лирический поэт и, как это говорится, — менестрель, — и это не ваше дело.

К сожалению, я не мог проследить за бурной деятельностью Нирка по созданию союза мушей. На меня опять накинута со страшной силой малярия. Но все же мы успели провести вместе с Нирком первое собрание мушей, а перед этим напечатать в «Маяке» воззвание к мушам.

Собрание устроили в одном из железных портовых пакгаузов. Открыли настежь ребристые двери. Муши тщательно подмели пакгауз, повесили портрет Ленина, а один из мушей, застенчивый старик, украсил портрет замысловато связанными в узлы разноцветными шерстяными нитками. Такие плетенья из грубой шерсти я видел у старых курдянок.

В стороне сидело несколько старых грузчиков. В свое время они верховодили в порту, сейчас же пожухли и сидели тихо.

Нирк сказал деловую речь, но глаза у него смеялись.

Потом говорил самый старый и уважаемый муша. Он не говорил, он кричал, грозил кому-то худым коричневым кулаком, сразу замолчал и быстро вышел, вытирая слезы рваной кепкой.

Все стихли, но старик сейчас же возвратился, сияя доброй улыбкой, подошел к Нирку, обнял его и прижал голову Нирка к своему плечу.

Муши качнулись, встали, гул прошел по их рядам. «Вспомнил сына, — говорили муши вполголоса. — У него был сын самый красивый на всем Черном море».

Старик что-то крикнул, схватил за плечи двух ближайших мушей и, качаясь, начал медленно и тяжело приплясывать.

Тотчас все муши схватились за плечи, запели и так же, как старик, начали медленную пляску. То был, как я подумал тогда, «танец усталых мушей». Иначе его нельзя было назвать. Снаружи уже стояла толпа, и дружный плеск ладоней звучал медленно, в такт пляске, как звук кастаньет.

Потом весь день муши ходили, как пьяные.

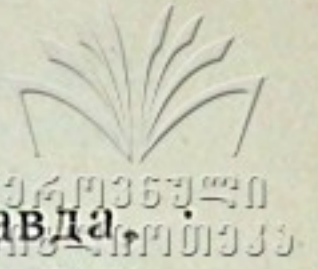
Так был создан союз мушей, который вскоре превратился в союз транспортных рабочих.

Меня лечили синькой, и все — даже слюна и белки глаз — сделались у меня небесно-голубого цвета. Каждую ночь я обмирал к утру, терял голос от слабости и с ужасом ждал трех часов дня, когда, как по хронометру, начинал чувствовать у себя в крови тяжкую ломоту — признак приближения лихорадки.

Курд—чистильщик сапог подарил мне самое сильное, по его словам, средство от малярии — засушенного паука, заклеенного в пустую скорлупу от грецкого ореха. Но и это чудодейственное средство не помогло.

Портовый врач сказал, чтобы я немедленно, не теряя ни одного дня, уезжал из Батума в Тифлис, где, по его словам, малярия должна была тотчас пройти.

Через несколько дней я передал газету «Маяк» Мрозовскому и уехал в Тифлис вместе с Фраерманом.



Два года я не видел льда и снега. Вернее, я их не замечал. Правда, в Одессе зимой мостовые изредка покрывались льдом, но зимние дни были такими угрюмыми и лишенными света, что даже не хотелось смотреть по сторонам. Поэтому я плохо запомнил одесские лед и снег.

В Тифлисе же прямо с вокзала мы с Фраерманом вошли в разнообразный свет солнца, в его отражения от окон домов, в блеск маленьких луж, покрытых тончайшей пленкой льда, в воздух, какого я еще не видел. Он весь переливался, вспыхивал, гас и снова блестел и как бы разгорался, будто состоял из миллионов ледяных чешуек.

Этот свет и льдистый блеск воздуха вызвали у меня первое впечатление о Тифлисе, как о городе таинственном и увлекательном — как о некоей восточной Флоренции.

Я представлял себе Тифлис менее интересным, чем он оказался.

Я не знал, что в Тифлисе бывает хотя и очень слабая, но все же зима. Вернее, намек на зиму. Она напоминает нам ясный и прохладный сентябрь. Запах льда в тенистых палисадниках и оттаявших луж на согретых солнцем тротуарах относится к довольно явным, но коротким признакам этой зимы.

Кроме того, то тут, то там просачивался из домов на улицы слабый запах дыма и угля от каминов и мангалов.

На вокзальной площади мы остановились, пораженные зрелищем гористых кварталов города. В них тихо и свежо лежало утро.

Я почему-то подумал, что в этом городе возможны, а может быть, и неизбежны всякие интересные истории.

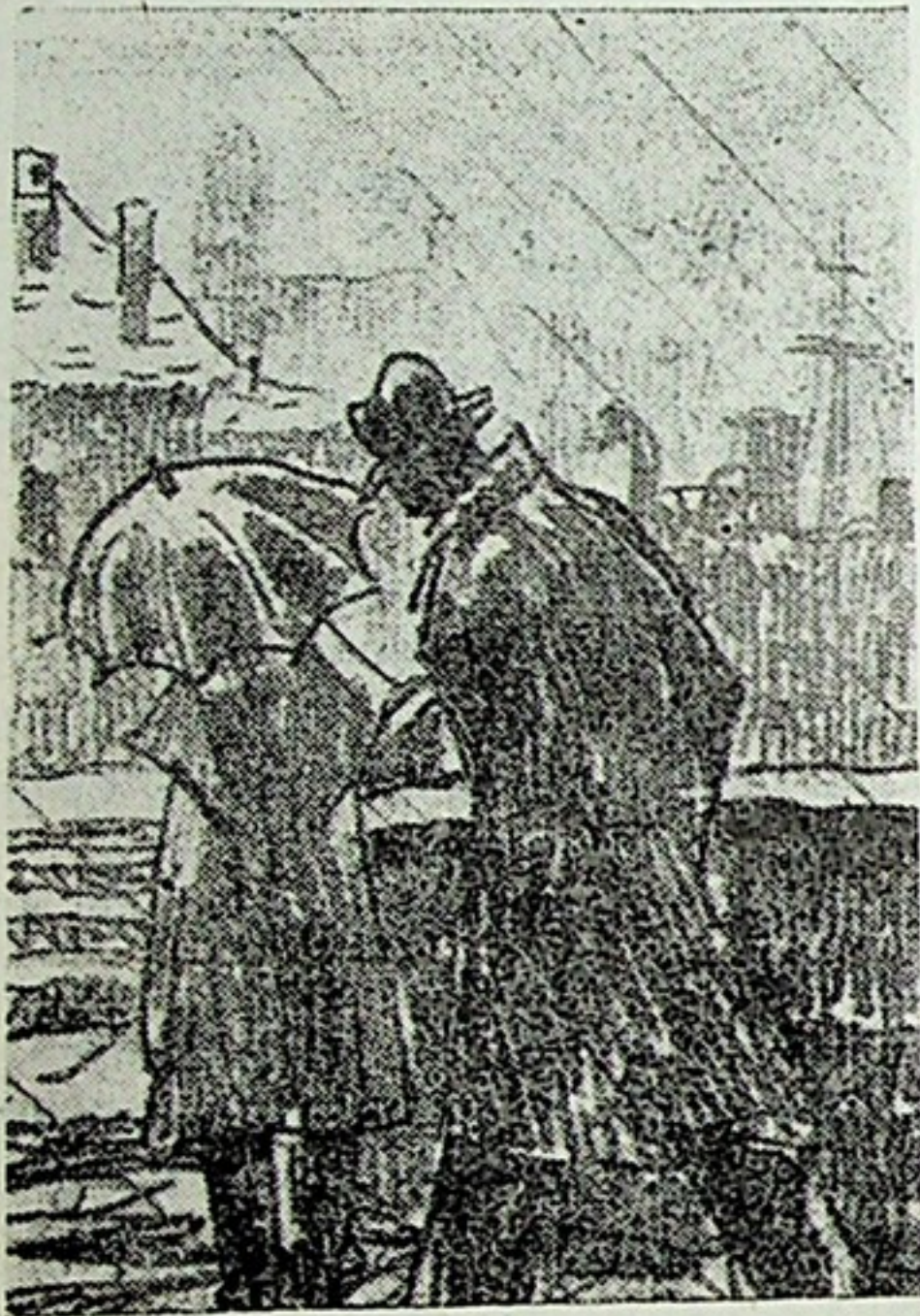
Это ощущение было в какой-то мере сказочным и веселым. От него то возникало, то затихало под сердцем глухое волнение.

Я знал уже много мест и городов России. Некоторые из этих городов сразу же брали в плен своим своеобразием. Но я еще не видел такого путаного, пестрого и легкого города, как Тифлис.

В течение тех нескольких минут, что мы простояли с Фраерманом на вокзальной площади, я решил, что жизнь в Тифлисе не пройдет для меня даром и что этот город не может не отозваться на моей судьбе. Конечно, я тотчас же посмеялся над этими своими мыслями, но не мог прогнать их. Они спрятались в глубине сознания и часто напоминали о себе.

Уверенность, что в этом городе случится со мной милое и неожиданное событие, осуществилась через короткое время после приезда в Тифлис.

Пока мы с Фраерманом смотрели на город и обменивались несколько восторженными впечатлениями, к нам неслышно подошел в мягких чувяках старый седой муша, быстро схватил наши чемоданы, ловко вскинул к себе на спину, на «горб», и побежал, приседая, прочь от вокзала в тесную и извилистую боковую улицу.



Мы оторопели. Первым пришел в себя Фраерман. Он вскрикнул и побежал вслед за мушой. Я бросился за Фраерманом.

Муша, не переставая бежать, оглядывался и кричал:

— Не пугайся, кацо! Добежим до угла, там отдохнем. Пожалуйста, не пугайся!

Мы ничего не понимали. Мысль о том, что муша — вор и уносит наши чемоданы, тотчас исчезла после его озабоченного крика.

Но добежать до угла нам так и не удалось. Из нескольких подворотен сразу выскочили молодые муши. С отчаянным гортанным криком они окружили нашего мушу, отняли у него чемоданы, швырнули их на мостовую и начали толкать старика назад, в сторону вокзала. Они так кричали и так гневно вращали глазами, что, казалось, вот-вот произойдет убийство.

Мы бросились на помощь старому муше. Тогда молодые муши перестали кричать и начали смеяться, а старый муша, ласково улыбаясь, снял шапку и попросил заплатить ему хоть немного за эту пробежку от вокзала до угла.

Я заплатил. Муши вытерли пот, вытащили папиросы, все сразу закурили и, посмеиваясь, угостили старика.

Потом они объяснили нам, что Тифлис поделен артелями мушей на участки и ни один муша не имеет права перехватывать работу не на своем участке, как это сделал наш старик.

Оказывается, что как раз за углом начинался его участок. Поэтому старик и торопился добежать до угла, но попал в засаду. За углом он был бы уже в безопасности.

Это подтвердил и милиционер, появившийся на шум.

Он был очень доволен этим происшествием, возможным, конечно, только с людьми, впервые приехавшими в Тифлис. При этом он изысканно извинился за «маленькое беспокойство».

— Люди хотят жить поровну, — объяснил он нам. — Равенство! Завоевание революции, генацвале! Здесь я отвечаю за всех мушей и за каждую вещь. Головой отвечаю. Милости просим ко мне на участок! Всегда рад оказать приятельскую услугу.

Двое молодых мушей взяли наши чемоданы и, поигрывая ими, как пустыми кошелками, пошли впереди нас по адресу, который я им сказал.

При каждой, даже самой ничтожной возможности они присаживались на ступеньки передохнуть, а потом, осмелев, начали заходить в маленькие подвалы-духанчики и выпивать вместе с нами по небольшому стакану красного вина.

С каждым новым стаканом настроение у нас становилось все легче и беззаботнее.

Мы болтали без умолку, встречные улыбались нам. Тифлис шумел, как водопад (это, оказывается, шумела у Верийского моста мугная Кура), продавцы кричали нараспев теноровыми голосами: «Салат, шпинат, лук зеленый, редис молодой!» Тифлисская зима сверкала нам в глаза тоненькими пластинками разбитого пешеходами льда, густым небом, блеском начищенных медных блях на сбруе черных ишаков, тащивших аттические кувшины с мацони. Нестерпимо сверкали окна и лакированные стенки трамваев. Они мчались вдоль Головинского проспекта и напоминали передвижные ярмарочные оркестры — столько звона, треска, лязга, смеха и крика они волочили за собой, сбивая с толку таких северных новичков, как мы с Фраерманом.

Маленькие стаканы вина, отмечавшие наше медленное, но верное продвижение по Тифлису, сыграли счастливую роль — они уничтожили следы моей обычной застенчивости.

Дело в том, что Мрозовский списался со своими родственниками в Тифлисе и заочно снял для меня комнату в их доме. У Фраермана уже была готовая комната, где жила Соля.

Я немного стеснялся въезжать в комнату, снятую Мрозовским, так как знал, что родственники Мрозовского были известные в Грузии футуристы, братья Зданевичи — поэт Илья и художник Кирилл. Я знал, что у них останавливался Маяковский, когда был в Тифлисе, что у них постоянно бывали все грузинские художники и поэты: и Ладо Гудиашвили, и Тициан Табидзе, и многие другие. Это обстоятельство меня, конечно, смущало.

Но сейчас мое смущение растаяло без остатка в легком кахетинском вине.

Зданевичи жили в старом доме с большими запутанными деревянными террасами, выходившими во двор, с полутемными прохладными комнатами, с выцветшими персидскими коврами и множеством раскошей мебели. Лестницы на дрожащих террасах качались под ногами, но никого это не смущало.

С террас был виден на горизонте снег Главного хребта.

Из комнат Зданевичей с утра до позднего вечера доносились аккорды рояля, женское пение, взвинченное чтение стихов и шумные споры и ссоры.

По всем террасам и коридорам ходили, прихрамывая, голуби. Когда люди замолкали, то весь дом глухо и страстно ворковал.

Кроме того, с утра во всех углах квартиры была слышна зубрежка французских склонений и спряжений. Это старик Зданевич — бывший учитель гимназии — занимался французским языком сразу с несколькими недорослями и неучами. У всех недорослей, как на подбор, были унылые, бубнящие голоса.

Каждые полчаса, а то и чаще, где-то падала и разбивалась посуда. На место происшествия тотчас спешила хромая такса и долго лаяла на виновника этого события.

Такса была со странностями. Она никогда не входила ко мне в комнату, а только приоткрывала мордой дверь, просовывала голову и неподвижно и тщательно смотрела на меня томными, восточными глазами. Так она могла стоять часами, но все же время от времени вдруг подпрыгивала, изгибалась и, изловчившись, начинала что-то выгрызать у себя на боку, страшно клацая зубами.

В первый же вечер моего приезда ко мне пришла хозяйка дома, старушка Валентина Кирилловна Зданевич. Она попросила разрешения немного посидеть у меня, чтобы отдохнуть от этого, как она выразилась, «цыганского табора». Моя комната, правда, была самая тихая.

С тех пор так и повелось: Валентина Кирилловна часто приходила ко мне посидеть и поговорить, и я был очень рад этому.

Через короткое время я уже полюбил эту маленькую старушку в пенсне, родом имеретинку, бывшую певицу, ученицу Чайковского.

Валентина Кирилловна поражала меня своей пронизательностью, живым умом и спокойствием. Она вырастила двух сыновей — поэта Илью и художника Кирилла. Сыновья были воинствующими футуристами. Илья по праву считался одним из вождей футуризма вместе с Бурлюком и Крученых. Он учился в Петербургском университете. Газеты тех лет часто писали о его скандалах на петербургских литературных вечерах.

Он основал в Тифлисе общество левых поэтов и художников. Называлось оно «Сорок первый градус» (по географической параллели, которая проходила вблизи Тифлиса).

Но Илья Зданевич, так же, как и Кирилл, заслуживает отдельного рассказа. Я сделаю это немного позже. Пока же я хочу закончить описание квартиры Зданевичей и ее обитателей.

Я переступил порог этой квартиры и оторопел. Стены во всех комнатах, террасы и коридоры, даже кладовые и ванны были завешаны от потолка до пола необыкновенными по рисунку и краскам картинами. Много картин, не поместившихся на стенах, было свернуто в рулоны и стояло в углах.

Все эти картины принадлежали кисти одного и того же художника, но очень редко можно было найти на них его грузинскую подпись «Нико Пиросманишвили».

О Пиросманишвили я тоже расскажу несколько позже. Сейчас же я хочу передать, если это мне удастся, то страшное состояние, которое вызвали у меня его картины. Два месяца я не мог привыкнуть к ним и жил в очень конкретном, но вместе с тем и полуреальном мире.

То был, главным образом, Кавказ, одновременно и причудливый и точный. И не только Кавказ, но и самые разные явления жизни, увиденные совсем не так, как мы привыкли их видеть. Так наивно и свежо может видеть человек, только что прозревший после слепоты. Или человек, внезапно проснувшийся, когда действительность еще не избавилась от налета сновидений.

В моей комнате тоже висели картины Пиросманишвили (Зданевичи звали его для краткости Пиросманом). Поэтому у меня было время изучить их и полюбить.

Рядом с этими картинами совершенно терялась нарядная орнаментальная роспись на стенах моей комнаты. Она была сделана персидскими художниками по заказу квартиранта Зданевичей, персидского консула в Тифлисе, жившего здесь до меня.

Кроме картин, в комнатах было много цветов. Квартира походила на оранжерею.

Цветы часто опрыскивали свежей водой. Поэтому в комнатах пахло сырой землей и листьями.

Когда в окно ударяло солнце, квартира напоминала летний день после ливня — со всех листьев, веток и цветов торопливо падали, поблескивая, капли теплого комнатного дождя.

Срезанных и собранных в букеты цветов в доме почти не держали. Вместо них всюду лежали куски коры, похожие на корытца. Они были наполнены разными свежими цветами: фиалками и крокусами, эдельвейсами и камелиями — и мхами всех цветов: изумрудно-зелеными, рыжими, черными, золотыми, красными и лимонными. Мхи пахли йодом.

Кроме цветов и мхов, в коре держали мелкие папоротники, хвои, всякие интересные вещи из растительного и животного мира, вплоть до корней в виде рыцарей и стыдливых купальщиц. На мхах сидели уснувшие бабочки. Они походили на беспредметные рисунки левых художников.

Жившая у Зданевичей экспансивная полька художница Мария, составлявшая все эти необыкновенные «букеты», называла их «суперматическими мотыльками» и вкрадчиво, чисто по-польски спрашивала нараспев:

— Что-о? Разве не-ет? Правда, это так похо-оже?

По всей квартире было разбросано много книг, главным образом, тоненьких, с крикливыми названиями и такими же крикливыми обложками. На них были нарисованы цветные полукружия, женские груди и изломанные лучи.

Самой популярной считалась книга стихов под титулом «Цвети.

поэзия, сукина дочь!». Она была набрана всеми шрифтами, какие нашлись в Тифлисе, — от афишного до перля и от курсива до эльзевира. Между отдельными словами были вставлены разные линейки, многоочия, скрипичные знаки, буквы из армянского, грузинского и арабского алфавитов, ноты, перевернутые вверх ногами вопросительные знаки, графские короны (эти клише держали до революции в типографиях только для визитных карточек), виньетки, изображавшие купидонов и гирлянды роз.

Я с удовольствием изучал эту книгу как своего рода коллекцию типографских шрифтов.

Было много книг на заумном языке. Одна из них называлась только буквой — «Ю». На столах горами были навалены рисунки, главным образом кубистические. Все женщины на этих рисунках были похожи на подруг неандертальского человека. Иногда огромные молнии с широкими хвостами разрубали на этих рисунках падавшие во все стороны дома. Очевидно, так было изображено землетрясение. Я не решился спросить Кирилла Зданевича, что значат эти рисунки. Кирилл был неразговорчив.

Брат Кирилла — Илья — уже второй год жил в Париже и подружился там с Пикассо. Об Илье у Зданевичей говорили так, будто он только что вышел за дверь.

Все делалось, как любил Илья. Никто не смел трогать его вещи. К этому все, особенно Валентина Кирилловна, отнеслись бы, как к кощунству.

Первое время я добросовестно читал поэмы Ильи — и «Осла на прокат» и «Янко, круль албанский», но мало что понимал в них. У меня начинала болеть голова. Но я не мог признаться в этом: непонимание стихов Ильи было для его родных и друзей признаком полной бездарности и мещанства.

Я вскоре заметил, что только Мария — дерзкая и насмешливая — имела право не восхищаться Ильей.

— Я отдала долг футуризму и теперь свободна, как птица, — говорила она нараспев.

— Какой долг? — спросил я.

— Хотите, я вам покажу? — спросила она и, не дожидаясь моего ответа, вышла в соседнюю комнату. Когда она вернулась, то на ее щеке пылал смело и широко написанный масляными красками цветок розы.

— Хорошо-о, да-а? — спросила она, стараясь не улыбаться, чтобы не испортить свежий рисунок. — Вот так я ходила по Головинскому проспекту со всеми поэтами. За нами целыми толпами бежали кинто с Авлабара и били в бубны. Смешно? Правда-а?

Этот разговор с Марией был почти через месяц после того, как я поселился у Зданевичей. Первое же знакомство с Марией было и странным и смешным.

У меня в комнате был камин. В день приезда я пошел вечером на террасу за дровами для камина. По нашим московским понятиям, это были не дрова, а мелкие ветки, к тому же еще и колючие.

Мне нздо было пройти через столовую. Там за обеденным столом пили чай Валентина Кирилловна, старик Зданевич, высокая молодая женщина — тонкая, как змея, и вторая молодая женщина, с бледным, как бы от сдержанного волнения, немного пламенным лицом, совершенно прозрачными и зелеными глазами и яркими смеющимися губами. Тяжелый серебряный браслет звенел у нее на руке.

— Вот, — сказала мне Валентина Кирилловна и показала на эту женщину, — познакомьтесь. Это наша Мария. Пожалуйста, не пугайтесь ее разговоров.

Мария порывисто встала и протянула мне руку. Звякнул браслет. Она усмехнулась, глядя мне в глаза, и вдруг, как будто без всякой надобности, нервно и быстро оглянулась — за ее спиной висел на стене ее портрет, написанной броско и вместе с тем нежно.

— Работа Терентьева, — сказал старик Зданевич. — Он у меня в гимназии шел по французскому на пять с плюсом.

Мария чуть улыбнулась. Она молчала. Я тоже молчал.

— Извините, — вдруг спохватилась Валентина Кирилловна. — А вот эта черная женщина, прелестное существо — наш общий друг — черногорка Живка.

— Черногория по-сербски выговаривается Црна Гура, — сказал старик Зданевич. И вдруг продекламировал с ложным пафосом: — «Черногорцы, что такое? — Бонапарте спросил. — Правда ль это племя злое не боится наших сил?»

Все опустили глаза. В соседнем доме слабый тенор пел:

Белых лилий Идумей  
Белый венчик цвел кругом...

— Цветут не венчики, а лепестки, — сердито сказал старик Зданевич.

Опять никто не отозвался на эти слова.

— Садитесь, — сказала мне Мария. — Я вам налью чаю.

— Сейчас. Я только принесу из кухни дров для камина.

Я пошел в кухню. Там было темно. В клетке завозился дряхлый попугай. За окном были видны одиночные и слишком яркие звезды над неясными вершинами гор.

Я набрал дров и пошел обратно. В столовой сидели только Мария и черногорка. Старики ушли.

Мария внимательно посмотрела на меня. В то же мгновение вся вязанка дров рассыпалась и полетела на пол.

— Мария, это свинство, — равнодушно сказала черногорка.

— Я так и знала, — грустно сказала Мария и встала. — Иначе и не могло быть. Погодите, я вам помогу.

Она быстро собрала дрова, но не дала их нести мне. Она сама отнесла их в мою комнату и разожгла камин.

Она стала на колени перед камином и, низко наклонив голову, почти лежа щекой на полу, раздувала слабый оконь. Бетки трещали и стреляли искрами.

Я хотел сказать ей, чтобы она встала. Ее волнистые каштановые волосы все время падали на пол, и она нетерпеливо отбрасывала их назад рукой со звенящим серебряным браслетом.

Мы долго молчали. Потом я спросил ее:

— Вы сказали, что иначе и не могло быть. Что это значит?

Она подняла голову, посмотрела на меня снизу, и я вдруг вздрогнул от блеска ее как бы прозрачных до дна и встревоженных глаз.

— Это значит, что я взбалмошная дура, — ответила она, вскочила и вышла из комнаты. — Идите пить чай.

Так случилось то неожиданное и милое событие, о котором я впервые подумал на площади Тифлисского вокзала.

### ПРОСТАЯ КЛЕЕНКА

На окраине Тифлиса были расположены знаменитые Верийские и Ортачальские сады.

То было место летних увеселений и отдыха. Почти каждый небольшой сад был превращен в кафешантан или духан.



К вечеру, когда начинала спадать жара, тифлисцы тянулись в эти сады. Кто побогаче — на пароконных извозчиках, а кто победнее — пешком.

Названия кафешантанов отличались пышностью и безвкусицей. Самый дорогой шантан назывался «Эльдорадо». Потом шли «Фантазия», «Сан-Суси», «Шантеклер» и «Джентльмен».

Невдалеке от Ортачальских садов были так называемые «веселые» улицы. Многие посетители шантанов сначала заезжали на эти улицы и привозили оттуда шумных девиц.

Что ждало тифлисцев в этих садах? Прохлада, легкий чад баранины, пение, танцы, азартная игра в лото и красивые огрубевшие женщины.

Особенно привлекала прохлада под сенью чинар и шелковиц. Трудно было понять, как она удержалась, когда весь Тифлис лежал рядом в жаркой котловине, в кольце нагретых гор, и даже страшно было смотреть на него с окрестных высот. Казалось, что Тифлис дымится от накала и вот-вот вспыхнет исполинским костром.

Может быть, этой прохладой тянуло от фонтанов, или в сады осторожно проникало дуновение горных снегов. В городе можно было дышать только перед рассветом, когда дома немного остывали за ночь. Но стоило солнцу подняться из Кахетии — и изнурительный жар сейчас же заливал улицы.

Среди певиц, выступавших в Верийских садах, была одна женщина — ленивая, тонкая в талии и широкая в плечах, с бронзового цвета волосами, нежной и сильной шеей и розовым телом. Звали ее Маргаритой.

Посетители шантана, где она пела по вечерам, считали ее обрусевшей немкой, но хозяин сада — обидчивый мингрел — каждый раз, услышав эти разговоры, устраивал настоящий скандал.

— Наверное, твои мозги совсем перевернулись в голове! — кричал хозяин. — Ты слышал такую страну — Франция?

— Ну, слышал, — хмуро отвечал неосторожный посетитель.

— А во Франции слышал такую губернию — Эльза? Слышал? Ну так она из этой губернии, из Эльза. Француженка высшего сорта. Что за люди! Пустяков не знают! Драться — знают, сдачи не давать — знают, трогать на улице девчонок — знают, мошенничать в карты — знают, а сообразить — ничего не знают!

Маргарита редко соглашалась поужинать с посетителями, но равнодушно, как должное, принимала от них маленькие подарки. Потом она их раздаривала подругам. Она была совершенно одинока.

Вообще было трудно понять, что она думает обо всем, что происходило вокруг, особенно о мужчинах. Многие хотели сделать ее своей любовницей.

Говорила она мало, а пела каким-то необыкновенным, как говорили, двойным, голосом.

Ее приезжали слушать артисты оперы и музыканты. От пения Маргариты оставалось ощущение, будто оно всегда сопровождается подголоском, похожим на слабое эхо.

Актеры говорили, что это так называемый «вокальный обман», как бывает, например, «обман зрения». На самом же деле никакого второго голоса нет.

Они говорили так и спорили, но, несмотря на это, каждый слышал, когда пела Маргарита, двойной звук ее голоса.

Однажды певцы и музыканты сняли на весь вечер духан «Варяг»,

пригласили туда Маргариту и устроили для любителей пения закрытый концерт.

После концерта встал старый дирижер и сказал, что человеческий голос является самым сложным музыкальным инструментом. Он богаче рояля и скрипки, и потому одновременное существование в голосе нескольких тонов вполне возможно и естественно.

А Маргарита пила, потупившись, вино. Красный шелк платья придавал ее волосам отблеск пожара. Изредка она подымала глаза и обводила ими всех, кто сидел за столом, но в туманной глубине ее зрачков не было ни огня, ни улыбки.

Прислонившись к дверному косяку, стоял высокий, очень худой грузин с тонким лицом и печальными глазами, в старом выгоревшем чекмене, и, не шевелясь, смотрел на Маргариту.

Это был бродячий художник Нико Пиросманишвили. Он любил Маргариту. Она была для него единственным человеком на свете. Каждая пядь земли, куда не ступала нога Маргариты, казалась ему остатком пустыни. Но там, где



сохранялся ее след, была благословенная земля. Каждая крупинка песка на ней горела, как крошечный алмаз.

Так, очевидно, спели бы о чувствах Пиросмана иранские поэты средней руки. Но все равно они были бы правы, несмотря на цветистую речь.

Тот день, когда Нико не слышал ее голоса, был для него самым глухим днем на земле.

Чрезмерная любовь вызывает желания, недоступные трезвому человеку. Кому из людей в их будничном состоянии может прийти в голову дикая мысль поцеловать человеческий голос, или осторожно погладить по голове поющую иволгу, или, наконец, поохотать вместе с воробьями, когда они поднимают вокруг нас неистовый гам, пыль и базар?

У Пиросмана появлялось иногда удивительное желание осторожно дотронуться до дрожащего горла Маргариты, когда она пела, желание одним только дыханием прикоснуться к этому таинственному голосу, к этой теплой струе воздуха, что издает такой великолепнейший взволнованный звон.

Люди говорят, что слишком большая любовь покоряет человека.

Любовь Нико не покорила Маргариту. Так, по крайней мере, считали все. Но все же нельзя было понять, действительно ли это так? Сам Нико не мог сказать этого. Маргарита жила, как во сне. Сердце ее было закрыто для всех. Ее красота была нужна людям. Но, очевидно, она совсем не была нужна ей самой, хотя она и следила за своей наружностью и хорошо одевалась. Шуршащая шелком и дышащая восточными духами, она казалась воплощением зрелой женственности.

Но было в этой ее красоте нечто грозное, и, кажется, она сама по-  
нимала это.

Откуда появился Пиросман, никто толком не знал.

Потом, после смерти Пиросмана, Кирилл Зданевич собрал по об-  
рывкам и крохам его биографию и, хотя и неполно, но восстановил его  
жизнь.

Пиросман родился в 1862 году в кахетинском селении Мирзаани в  
семье бедного крестьянина. Еще мальчишкой родители отдали его слу-  
гой в грузинскую состоятельную семью в Тифлис.

Пиросман работал слугой до двенадцати лет. Потом он поступил  
кондуктором на Закавказскую железную дорогу. Тогда впервые он начал  
рисовать. Первой его работой был портрет начальника станции и его  
жены. Очевидно, то был очень ядовитый и карикатурный портрет, пото-  
му что начальник станции, увидев портрет, тотчас выгнал Пиросмана  
со службы.

Что было делать? Пиросман не мог заниматься тем, чем занималось  
в то время большинство бедняков в Тифлисе, — ничтожными темными  
делами, удачным и неудачным обманом. Для этого он был слишком чи-  
стосердечен и горд.

Он не был бездельником и тифлисским кинто — полунищим, весе-  
лым и наглым. Он не умел, как кинто, делать деньги «из воздуха», из  
анекдота, из неприличной шутки, из «ишачьего крика».

Одно время Пиросман торговал молоком на задворках Майдана и  
кое-как перебивался на свой нищенский доход. Но и это занятие претило  
ему. Он разрисовал всю свою лавку, как пышный цветок. Первые свои  
картины он раздаривал и бывал счастлив, когда их охотно брали.

Иногда он спускал свои картины, или, как их называли на Майдане,  
«картинки», перепродавцам всяких мало кому нужных вещей. Такие ве-  
щи, как говорится, были «на любителя» и назывались загадочным ино-  
странным словом «брик-а-бра». По мнению перепродавцов, это было  
очень красивое и заманчивое слово, тем более, что оно было непонятно  
ни самим перепродавцам, ни Пиросману, ни покупателям.

Но ставка продавцов на это слово не удалась. Покупатели сильно  
удивлялись, даже пугались и картин не брали. Перепродавцы же плати-  
ли Пиросману за его картины гроши.

И Пиросман голодал. Иногда он присаживался у стены какого-ни-  
будь дома или ствола старого, как мир, пыльного дерева и сидел тихо,  
пока у него не переставала кружиться голова.

Пришлось вернуться на родину, в деревню, где на Пиросмана  
неизбежно должна была обрушиться вся тяжесть бытовых и семейных  
традиций.

Свой дом в деревне Пиросман тоже расписал сверху донизу, к ве-  
ликому восхищению сородичей и соседей.

Потом Пиросман устроил в этом доме пир. После этого он написал  
четыре картины, изображающие этот деревенский праздник. Пир был  
удивителен тем, что вопреки большинству пиров на нем не было бога-  
чей. Гости стояли, сидели и лежали, высоко подняв роги с вином. Эта  
живописная и нарядная толчея была написана Пиросманом очень  
смело.

Наконец Пиросман придумал удачный, как ему казалось, выход.  
Он вернулся в Тифлис и начал писать яркие вывески для духанов за  
несколько обедов с вином и несколько ужинов. Часть заработка он брал  
иногда деньгами, чтобы покупать краски и платить за ночлег.

Но на материалы денег никогда не хватало. Духанщики охотно



снимали старые жестяные вывески и предлагали писать на них, предварительно замазав почерневшую раскраску. Но Пиросман никогда не соглашался на это.

Жестяные вывески ржавели. А Пиросман знал, что какой бы он ни был неученый художник или, как говорят русские, самоучка, но по силе и чистоте красок и рисунка он мог бы, пожалуй, потягаться с некоторыми большими художниками (он видел хорошие репродукции их картин). Может быть, даже с самим Делакруа — об этом французе ему много рассказывал один гимназист, тоже мечтавший стать художником.

Материала не было, и Пиросман начал писать на том единственном, что находилось всегда под рукой в каждом, даже самом дешевом духане, — на простой клеенке, снятой со столика.

Клеенки были черные и белые. Пиросман писал, оставляя там, где это было нужно, незакрашенные куски клеенки.

Потом он применил этот прием и для портретов. Впечатление от некоторых вещей, сделанных в такой манере, было необыкновенным.

Я навсегда запомнил его клеенку «Князь», где бледный старик в черной черкеске стоит с рогом в руках на скудной земле. Позади него виден доведенный почти до топографической схемы горный Кавказ. Черкеска князя как раз и была непрописанным куском клеенки глубокого черного цвета, особенно резкого в рассветном тусклом освещении. Я никак не мог понять, какими красками было передано это освещение.

За такие портреты, как этот, Пиросман в лучшие свои времена получал 20—30 рублей.

Посетителям нравились вывески Пиросмана — прозрачный виноград, тыквы, оранжевая хурма, кудрявые сады и богатые натюрморты из разных травок, баклажан, шашлыков, сыра и жареной рыбы «локо».

Но бесконечно писать эти натюрморты для вывесок Пиросман не мог. Чрезмерность, как всегда, вызывала скуку. Тогда Пиросман начал писать на вывесках многолюдные пирушки на траве, на узких крестьянских скатертях. На вывесках появились люди, пейзаж и животные, главным образом многотерпеливые ишаки.

Иногда Пиросман сообща с хозяином придумывал для духана название. Чем замысловатее было название, тем больше оно нравилось.

Пиросман, усмехаясь, писал: «Шашлыки по-электрически» или «Одному не надо пить».

Особенно любили такие броские названия в грузинской провинции, где-нибудь в Озургетах, Ахалкалаках или Сагареджо.

Я уже не застал Пиросмана: он умер до моего приезда в Тифлис.

Пиросман оставил огромное живописное богатство. Его картины ряд лет собирал Кирилл Зданевич, собирал буквально по крохам. Он разыскал почти всего Пиросмана, он спас работы прекрасного народного художника, совершил подлинный подвиг и впоследствии подарил собрание картин Пиросмана государству, иными словами — народу.

В 1916 году Кирилл Зданевич встретился в Петрограде с художниками Гончаровой и Ларионовым. Они приехали в Петроград из Молдавии и привезли смешные и очень живописные вывески, найденные ими в Тирасполе.

Вывески очень понравились Кириллу Зданевичу. Вскоре в Тифлисе он увидел еще более живописную вывеску в духане «Варяг» и купил ее. Она была написана неизвестным живописцем Нико Пиросманишвили.

У Кирилла были знакомства с крестьянами, духанщиками, бродя-



чими музыкантами, сельскими учителями. Всем им он поручал разыскивать для него картины и вывески Пиросмана.

Первое время духанщики продавали за гроши вывески. Но вскоре по Грузии прошел слух, что какой-то художник из Тифлиса скупает их, якобы для заграницы, и духанщики начали набивать цену.

И старики Зданевичи и Кирилл были очень бедны в то время. При мне был случай, когда покупка картины Пиросмана посадила всю семью на хлеб и воду. Мария бегала на Дезертирский базар продавать последние серьги или последний жакет. Кирилл носился по Тифлису в надежде перехватить хоть немного денег, старик брал со своих недорослей плату вперед.

Наконец хмурый Кирилл (чем больше он бывал растроган, тем сильнее хмурился) принес картину, молча развернул ее, сказал: «Ну, каково!» — и картина после этого несколько дней провисела на почетном месте в гостиной.

После этого Кирилл отсыпался от волнений, а потом начиналось паломничество любителей живописи. Из моей комнаты были слышны все разговоры в гостиной, и я вскоре знал наизусть истории всех новых картин.

Мое знакомство с Пиросманом началось с первого же дня моей жизни в Тифлисе.

Как я уже говорил, стены моей комнаты были завешаны от верхнего карниза до плинтуса клеенками Пиросмана.

В день приезда я только мельком взглянул на них. К тому же в комнате было сумрачно от зимнего тифлисского дня. Но все же меня все время не оставляла непонятная тревога — как будто меня быстро провели за руку через удивительную, совершенно причудливую страну, как будто я уже ее видел, или она мне давно приснилась, и с тех пор я никак не дождусь, чтобы осмотреться в этой стране, прийти в себя и узнать ее во всех подробностях.

Я уснул с тревогой на сердце. Тревогой от еще незнакомых картин, что молча окружали меня и, как мне казалось, не спускали с меня глаз.

Проснулся я, должно быть, очень рано. Резкое и сухое солнце косо лежало на противоположной стене.

Я взглянул на эту стену и вскочил. Сердце у меня начало биться тяжело и быстро.

Со стены смотрел мне прямо в глаза — тревожно, вопросительно и явно страдая, но не в силах рассказать об этом страдании, какой-то странный зверь — напряженный, как струна.

Это был жираф. Простой жираф, которого Пиросман, очевидно, видел в старом тифлисском зверинце.

Я отвернулся. Но я чувствовал, я знал, что жираф пристально смотрит на меня и знает все, что творится у меня на душе.

Во всем доме было мертвенно тихо. Все еще спали. Я отвел глаза от жирафа, и мне тотчас же показалось, что он вышел из простой деревянной рамы, стоит рядом и ждет, чтобы я сказал что-то очень простое и важное, что должно расколдовать его, оживить и освободить от многолетней прикрепленности к этой сухой пыльной клеенке.

Внезапно во дворе раздался отчаянный нечеловеческий крик: «Мацони! Мацони!!». Так отчаянно, почти рыдая, кричали почему-то все продавцы мацони — кавказской простокваши. Они развозили свой товар по городу, навьючивая переметные сумы с кувшинами мацони на черных и таких пыльных осликов, будто все прохожие долго вытирали о них ноги, как о половики.

Я вздрогнул от крика мацонщика и застонал.

Но дрожь не проходила. Я все сильнее стонал, стараясь сдержаться. Жираф ушел в тусклую клеенку. Белое солнце било в косяки окон, солнце Кахетии, и я увидел около себя испуганную Марию, увидел ко-со срезанную на ее щеке прядь каштановых блестящих волос, потом увидел Валентину Кирилловну. Она внимательно смотрела на меня поверх очков. Тогда я понял, что меня схватил — теперь уже в Тифлисе — жестокий припадок малярии.

Валентина Кирилловна ушла, а Мария положила мне на лоб холодную мокрую повязку, наклонилась ко мне и прижалась щекой к моим губам, чтобы попробовать, сильный ли у меня жар. И я с благодарностью ощутил это деловое прикосновение, как отдаленную, мимоходом брошенную ласку.

Вскоре я знал уже почти все картины Пиросмана. Они помогли мне понять и полюбить Кавказ — сложную и мозаично-прекрасную страну.

Пиросман стал для меня живописной и свободной в своем выражении энциклопедией Грузии, ее людей, ее истории и природы.

Панорамы Кавказа, начиная от магической лунной ночи над Тифлисским арсеналом и кончая выжженной панорамой гор у ног Шамиля, запомнились мне на всю жизнь.

Сотни худых пиросманских крестьян, веселых виноградарей, бедных и робких женщин, рыбаков, спесивых богачей с толстыми усами, тифлисских дворников с такими же косматыми бородами, как и их растрепанные метлы, равнодушных музыкантов толпились в квартире Зданевичей на слегка пыльных клеенках. Время от времени кто-нибудь вспоминал то об одной, то о другой картине и рассказывал о ней что-нибудь интересное.

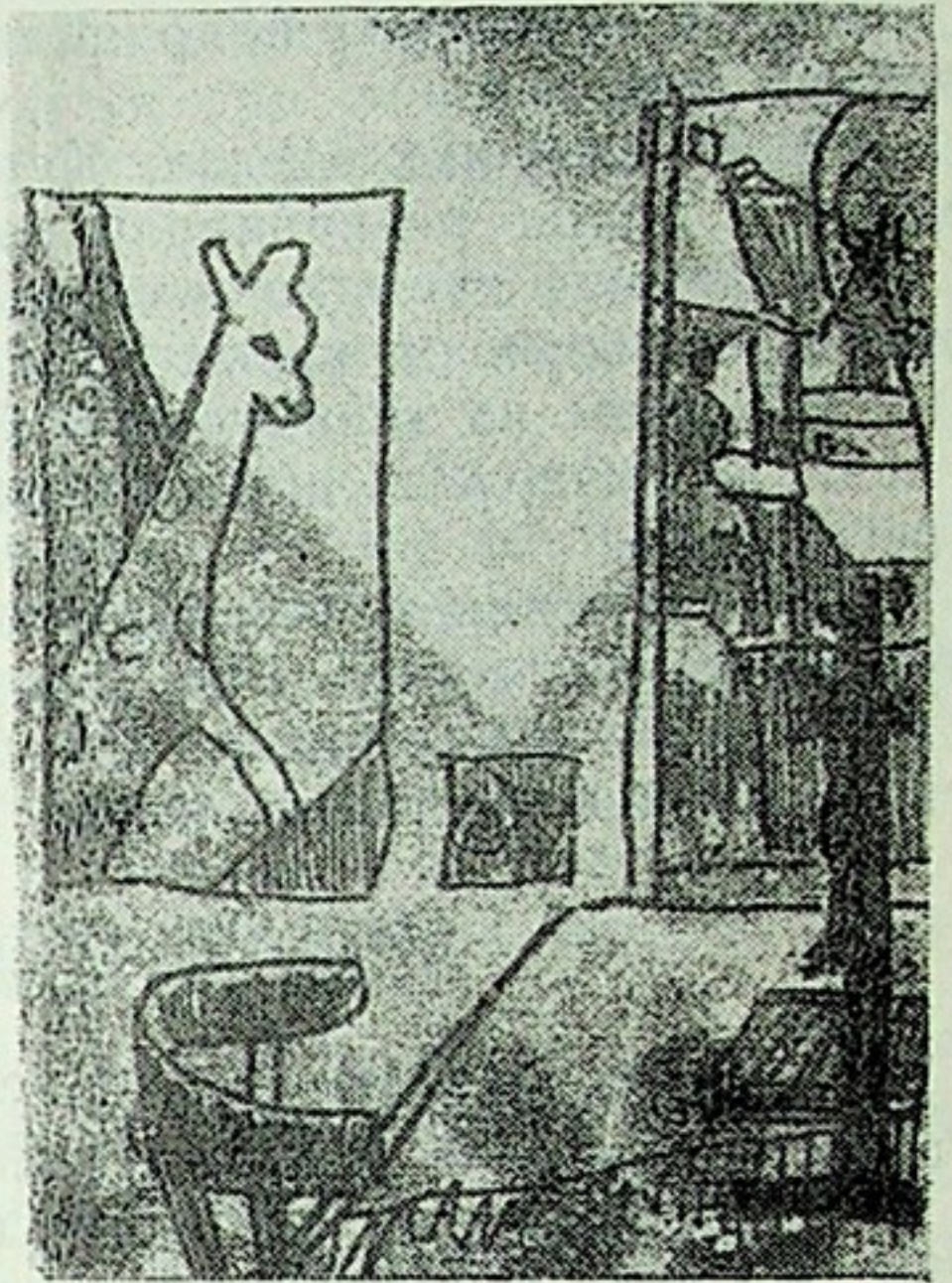
Большей частью на картинах Пиросмана были люди, но особое место занимали на них и разные звери: львы, газели, буйволы, жирафы, верблюды и безответные друзья художника — ишаки.

Искусство всегда берет человека за сердце и чуть сжимает его. И человек никогда не забудет этого явного прикосновения прекрасного.

Человек не забудет того состояния душевной полноты и крылатости, которое иногда дает ему одна — только одна! — строчка великолепных стихов или картина, пережившая несколько столетий для того, чтобы донести до нас свою красоту.

Если бы я не знал Пиросмана, я бы видел Грузию недопроявленной, как слабый снимок, без красок и теней, без деталей и контуров и без синеющей мглы его полувосточных и полуевропейских пространств.

Пиросман наполнил для меня Грузию соком плодов и резкостью сухих красок. Он приобщил меня к этой стране, где одновременно с радостью ощущаешь легкую и непонятную грусть. Так блестят весельем и сдержанной грустью глаза грузинских красавиц. Они обычно быстро и легко исчезают в толпе, эти красавицы, хогя к ним обращена нежная просьба поэта:



Это летнее утро поначалу ничем не отличалось от других. Все так же неумолимо, испламеняя все вокруг, подымалось из Кахетии солнце, так же рыдали ишаки, привязанные к телеграфным столбам, такие же свирепого вида черноусые люди проходили по улицам с большими бидонами и неохотно покрикивали: «Нафти! Нафти!». — предлагая хозяйкам керосин.

Все было как всегда, Кура шумела у мельниц около Ишачьего моста и жидко позванивали полупустые трамваи.

Утро еще дремало в одном из переулков в Сололаках, и тень лежала на серых от времени деревянных невысоких домах.

В одном из таких домов были распахнуты на втором этаже маленькие окна, и за ними спала Маргарита, прикрыв глаза рыжеватыми ресницами.

Как в жидком стекле, виднелись над Сололаками гора Давида, фуникулер и могила Грибоедова. Она заросла плющом. Надпись на могильном камне чьи-то заботливые руки освободили от веток плюща, и ее можно было прочесть:

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской,  
Но для чего пережила тебя любовь моя!».

Бесполезный горький упрек судьбе или тому высшему существу, в которое верила молодая жена Грибоедова — Нина Чавчавадзе.

В общем, утро было бы, действительно, самым обыкновенным, если не знать, что это было утро дня рождения Нико Пиросманишвили и если бы именно в это утро в узком переулке в Сололаках не появились арбы с редким и легким грузом.

Груз этот был, очевидно, настолько легок, что арбы даже не скрипели под ним, а только чуть слышно погромыхивали, подскакивая на крупных камнях мостовой.

Арбы были доверху нагружены срезанными и обрызганными водой цветами. От этого казалось, что цветы покрыты сотнями крошечных радуг предрассветной росы.

Арбы остановились около дома Маргариты. Аробщики, вполголоса переговариваясь, начали снимать охапки цветов и сваливать их на тротуар и мостовую у порога.

Когда первые арбы отъехали и вся мостовая была уже усыпана цветами, на смену первым арбам появились вторые. Казалось, арбы свозили сюда цветы не только со всего Тифлиса, но и со всей Грузии.

Запах цветов заполнил сололакскую улицу. В окнах появились первые хозяйки. Они торопливо расчесывали смоляные волосы и жадно смотрели на удивительное зрелище за окнами: аробщики, самые обыкновенные аробщики, а не легендарные погонщики из «Тысячи и одной ночи», загружали цветами всю улицу, как будто хотели засыпать ими дома до второго этажа.

Смех детей и возгласы хозяек разбудили Маргариту. Она села на постели и вздохнула. Целые озера запахов — освежающих, ласковых, ярких и нежных, радостных и печальных — наполнили воздух. Это был, возможно, запах небесных пространств, оставшийся после медленного прохождения ночной звездой сферы над нашей землей, или запах зародыша, замкнутого в течение долгого времени под оболочкой обыкновенного цветочного семени, а теперь освобожденного водой, теплом и крепкими солями земли.

С обеих сторон при входе в переулок уже собрались и шумели толпы. Люди глазели на невиданное и непонятное зрелище.

Непонятность того, что произошло, смущала людей, и потому никто не решался первым ступить на этот цветущий ковер, доходивший людям до самых колен.

Что же касается маленьких детей, то они могли даже заблудиться в этих цветочных горах. Поэтому женщины, полные восхищения и гордости от сознания тайны, приблизившейся вплотную к их стертым, знакомым до последней трещины порогам (а они знали все трещины потому, что им приходилось часто мыть эти пороги), крепко держали за руки детей и не отпускали их от себя.

Каких цветов тут только не было! Бессмысленно их перечислять!

Поздняя иранская сирень. Там в каждой чашечке скрывалась маленькая, как песчинка, капля холодной влаги, пряной на вкус. Густая акация с отливающими серебром лепестками. Дикий боярышник — его запах был тем крепче, чем каменнее была почва, на которой он рос. Нежная синяя вероника, бегония и множество разноцветных анемонов. Изящная красавица жимолость в розовом дыму, красные воронки ипомеи, лилии, мак, всегда вырастающий на скалах именно там, где упала хотя бы самая маленькая капля птичьей крови, настурция, гиацинты и розы, розы, розы всех размеров, всех запахов, всех цветов от черной до белой и от золотой до бледно-розовой, как ранняя заря. И тысячи других цветов.

Взволнованная Маргарита, еще ничего не понимая, быстро оделась. Она надела свое самое лучшее, самое богатое платье и тяжелые браслеты, прибрала свои бронзовые волосы и, одеваясь, улыбалась, сама не зная чему. Потом она засмеялась, потом слезы появились у нее на глазах, но она не вытирала их, а только стряхивала быстрым движением головы. Слезинки разлетались от этого в разные стороны и долго еще горели на ее платье.

Она догадывалась, что этот праздник устроен для нее. Но кем? И по какому случаю? И тут она вспомнила, что сегодня, кажется, день рождения Пиросмана. Может быть, все эти горы цветов он прислал ей в память этого полузабытого дня.

Но почему прислал в день не ее, а своего рождения?

В это время единственный человек, худой и бледный от волнения, решился переступить границу цветов и медленно пошел по цветам к дому Маргариты.

Толпа узнала его и замолчала. Это был нищий художник Нико Пиросманишвили. Где он только взял столько денег, чтобы купить эти сугробы цветов? Столько денег!

Он шел к дому Маргариты, прикасаясь рукой к стенам.

Все видели, как навстречу ему выбежала из дома Маргарита — еще никогда никто не видел ее в таком блеске красоты, — обняла Пиросмана за худые, больные плечи и прижалась к его старому чекмену.

— Почему, — спросила Маргарита, задыхаясь, — почему ты подарил мне эти горы цветов в день своего рождения? Я ничего не понимаю, Нико.

Пиросман не ответил. Но Маргарита всем существом, всеми нервами, всей кровью, бившейся в ее теле, поняла и без его ответа силу его любви и впервые крепко поцеловала Нико в губы. Поцеловала перед лицом солнца, неба и простых людей — жителей тифлисского квартала Сололаки.

Некоторые люди отворачивались, чтобы скрыть слезы. Люди думали, что большая любовь всегда найдет дорогу к любимому, хотя бы и



холодному сердцу. Потому что все знали, что Пиросман любил Маргариту, но она совсем не любила его, а только жалела за его горькую и неудачную жизнь.

Историю любви Пиросмана рассказывают по-разному. Я повторил один из этих рассказов. Я коротко записал его, не придавая чрезмерного значения его сугубой подлинности. Пусть этим занимаются придирчивые и скучные люди.

Но об одном я не могу умолчать, потому что это, пожалуй, одна из самых горьких правд на земле: вскоре Маргарита нашла себе богатого возлюбленного и сбежала с ним из Тифлиса.

## КАЖДОМУ СВОЕ

В Тифлисе я жил среди разнообразных людей, но все они обладали одним общим свойством: каждый был полон своими мыслями и своим делом, каждый говорил о своем и мало обращал внимания на остальных, особенно на тех, кого считал чужаком. Бабель уехал в Москву еще до моего приезда в Тифлис, и единственным человеком, с которым мы сходились в мыслях, был Фраерман.

В среде футуристов — писателей и художников — я считался не то чтобы чужаком, но «диким»: колеблющимся и непосвященным.

Так обо мне думали, должно быть, потому, что я не ввязывался в споры и одинаково не принимал ни темно-серую литературу Шеллер — Михайловых, ни сиропные стишки Раггаузов, ни заумные «смыки» и «мыки» Крученых.

Спорил я только с постоянным посетителем дома Зданевичей поэтом Николаем Чернявским. Он был влюблен в Грузию и потому звал себя не Николаем, а по-грузински — Колау.

Стихи он писал таким способом, что без чертежа почти невозможно было объяснить этот способ. В общем, он сначала писал основной текст стихотворения, даже довольно понятный. Но путем типографских ухищрений и игры шрифтов, одно и то же стихотворение превращалось в три.

Достигалось это тем, что стихи печатались вместе, но тремя размерами шрифтов. Если вы читали только слова, набранные самым крупным шрифтом, не обращая внимания на слова, напечатанные средним или мелким шрифтом, то получался один текст.

Если же вы читали слова, набранные средним шрифтом, пропуская все остальные шрифты, то получался второй, совершенно самостоятельный текст стихотворения.

Если же вы читали самый мелкий шрифт (предположим, петит или нонпарель), то получался третий, неожиданный текст.

Этому головоломному и вгонявшему в отчаяние занятию Колау Чернявский отдавал почти все свое время.

Чтобы довести писание стихов этим способом (такие стихи назывались симфоническими) до возможного совершенства, надо было знать все шрифты и типографское дело. И Чернявский знал его блестяще.

Вообще познания Чернявского в любой области были поразительными, суждения — резкими и нетерпимыми, а преданность всем левейшим течениям в искусстве — безграничной.

Он мог в проливной дождь позвонить среди ночи у дверей Зданевичей, разбудить Кирилла и прочесть ему последние, дошедшие с севера стихи Хлебникова. При этом просыпалась, конечно, вся квартира, даже старик Зданевич. В силу семейных традиций, старик горячо под-

держивал все самое левое в искусстве, но вряд ли разбирался что/к чему.

Чернявский — человек совершенно одинокий — почти все дни напролет проводил у Зданевичей. Он непрерывно что-то рассказывал, доказывал, возмущался и восхищался. Его постоянными слушательницами были Валентина Кирилловна и Мария. Они не только терпели, но и любили и жалели Чернявского, у него изредка бывали припадки эпилепсии. В этих случаях звали на помощь меня.

Чернявский был удивительным разговорщиком. Ему было совершенно все равно, чем занимается его собеседник, лишь бы он его слушал. Когда Мария прибирала комнаты, он ходил следом за ней, натыкаясь на мебель, и не переставал говорить. Или торчал на кухне, когда Валентина Кирилловна готовила свой знаменитый плов и, внезапно прерывая поток речей о живописи или грузинском правописании, давал ей ценные кулинарные советы.

Изредка Валентина Кирилловна и Мария силой вталкивали Чернявского ко мне в комнату и запирали на ключ дверь. Это Чернявского не смущало, и он с полным самозабвением обрушивался на меня.

Вообще же он был очень незлобивым и беспомощным человеком. Его обманывали и обижали на каждом шагу. В этих случаях его единственными яростными защитниками были Зданевичи.

И вместе с тем он принадлежал к тем чудакам, которые не только украшают, как принято думать, жизнь, а дают ей, кроме того, прочную основу. Стоило Коле не прийти два-три дня, как вся жизнь в квартире разлаживалась, шла кое-как, и все начинали скучать.

Много разных людей бывало у Зданевичей. Они заходили, кстати, и ко мне, и добродушный старый армянский поэт Кара-Дервиш, выпустивший полное собрание своих стихов на двенадцати почтовых открытках, и рыцарски-доброжелательный и мудрый поэт Тициан Табидзе, и художник Терентьев, сделавший первую попытку вынести театр на городские площади, и Василий Каменский, и Чачиков (он тоже переехал из Батума в Тифлис), и режиссер Шенгелая.

Дом с утра до вечера гудел от разговоров. Единственным местом, где можно было отдохнуть, оставалась моя комната. Чаще всего ко мне приходила Валентина Кирилловна, потом начала приходить Мария.

— Я вам не помешала, не-ет? — пела она за дверью, и глаза ее смеялись.

Она сидела тихо, притаившись, нисколько меня не стесняясь, шила или читала, склонив голову так низко, что волосы падали ей на глаза, и вдруг спрашивала меня что-нибудь совершенно неожиданное, например, что значит высокий подъем у ноги и чем он измеряется, читал ли я книгу Катюля Мендеса «Король-девственник» и правда ли, что Пушкин написал об известной испанской танцовщице Лале Рук изумительные стихи:

И в зал, как лилия крылатая,  
Колеблюсь, входит Лала Рук...

Уходила Мария всегда, как бы испугавшись.

Однажды она принесла мне большую папку с рисунками.

— Это ваши? — спросил я.

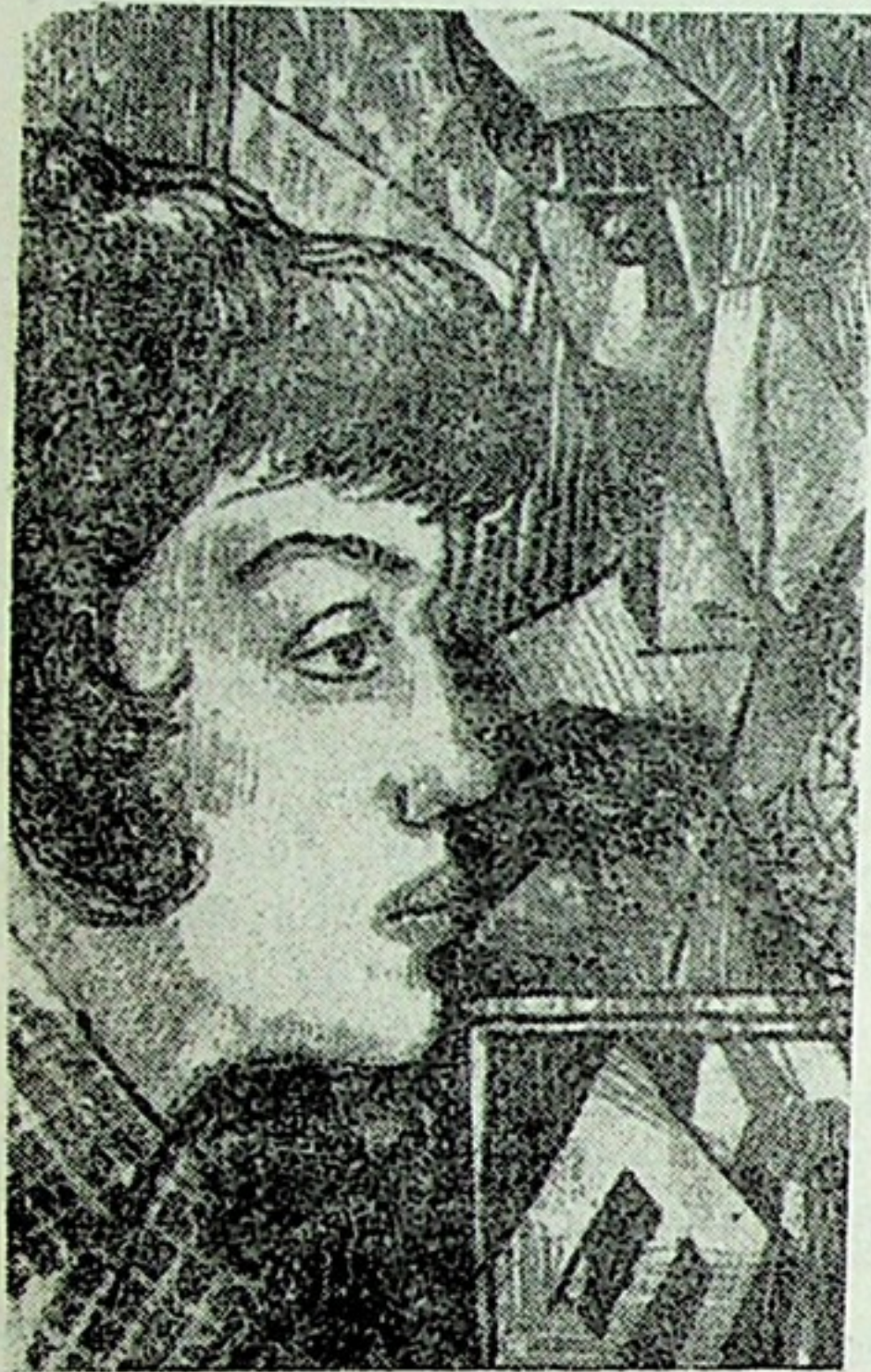
— Нет, что вы! Это рисунки одного необыкновенно талантливого, даже, может быть, гениального художника. Увидите сами.

Она ушла, а я начал рассматривать рисунки, сделанные где попало — то на картоне, то на папиросной бумаге, то на листках, вырванных из ученической тетради, то на обороте книжного переплета.

Первой моей мыслью было, что Мария принесла мне рисунки Де-лакруа. Но нет! Они были так же выразительны, но, пожалуй, более разнообразны по содержанию.

Рисунки были сделаны карандашом, углем, сангиной и акварельными красками.

Я искал подпись автора, но неизвестный художник, видно, не любил оставлять свою фамилию на рисунках. Лишь кое-где он написал свое имя «Зига». Зига значит Сигизмунд. Мария была полька. Я догадывался, что рисунки принадлежат кому-то из ее близких людей.



Вскоре все выяснилось. Я узнал о существовании замечательного художника Зиги или Сигизмунда Валишевского. Он был старшим братом Марии. При меньшевиках он уехал из Грузии в Польшу, потом недолго жил в Париже и вернулся в Краков.

Там он стал главой общества молодых художников.

Он любил только живопись, знал только живопись, рассматривал все жизненные события как художник и верил, что только искусство способно преобразить и украсить мир.

Он был художником-рыцарем, Дон-Кихотом, подвижником и неумолимо требовательным к себе и к другим, зрым и ясным мастером.

Он был скромн, прост, добр к людям и жестоко изуродован.

Из-за какой-то тяжелой болезни кровеносных сосудов ему ампутировали обе ноги. Остаток жизни он провел мучительно, лишенный возможности двигаться, но не потерял спокойствия.

Умер Валишевский, как подлинный художник. Он расписывал фресками потолки в Вавельском замке в Кракове. Для этого его подымали на лебедке под высокие своды зала, и он писал весь день, лежа на спине.

В конце концов его утомленное сердце не выдержало такого напряжения, разорвалось, и он умер там, в сумрачной вышоте величественного здания, не выпустив кисти из рук.

Он стал любовью молодой художественной Польши. Он никогда не пытался загнать красоту в свой собственный угол, в свою теоретическую сеть.

Он находил ее, приветствовал и склонялся перед ней всюду, где она существовала.

Широта его художественных взглядов была необычайна. Даже самые нетерпимые, воинствующие и крикливые футуристы и апологеты других столь же шумных живописных течений безропотно склонялись перед его талантом и его чистотой.

Я видел много работ Валишевского. Это было сильно выражено и выполнено (другого определения я не нахожу) волшебной кистью и волшебным карандашом.

Ясность и животворная сила его рисунка, как бы мимоходом бро-

шенного мазка, то удивительное свойство, когда незаконченная линия заканчивается нами, зрителями, в нашем сознании с полной четкостью, сияние каких-то радостных небес — не обязательно синих, — падавшее на его картоны и полотна, скульптурность лиц, характеры, переданные скупым жестом или позой, портреты, где мужественный гротеск был правдивее, чем сам оригинал, мягкость тканей, волос, освещения, движущейся листвы и праздничные глаза, приблизившиеся почти вплотную к твоим зрачкам, вдруг возникающая на одно мгновение стремительная зарисовка эпохи от карнавалов Венеции до шествия сазандари с бубнами к Метехскому замку — все это ошеломляло и казалось тем удивительнее, что тут же рядом с автопортрета смотрел на вас худой, высокий и юный человек, почти мальчик, с серыми застенчивыми глазами.

Он любил Делакруа, и, должно быть, работая, всегда беседовал с глазу на глаз с этим одновременно и трезвым и романтически настроенным человеком.

Он любил и понимал краску и ее жизнь на полотне не хуже Делакруа и Ван-Гога. Но вместе с тем он покорила своим великолепным реализмом всех, кто видел серию его карандашных портретов всех без исключения солдат и офицеров Первого Кавказского стрелкового полка.

Во время первой мировой войны Валишевский был призван в армию и служил солдатом в этом полку на Рижском фронте. Во время зимнего затишья где-то около Двинска Валишевский, почти шутя, нарисовал действительно потрясающую серию портретов своих однополчан — от кашевара до пулеметчика и от мухортых запасных солдат-крестonosцев до офицеров всех возрастов и характеров.

Я видел только несколько уцелевших портретов. Что сказать? Это была огромная, смелая, виртуозная работа щедрого мастера.

Валишевский почти все эти портреты раздарил. Если бы они были собраны в одном месте, то, мне думается, могли бы затмить своей естественностью и простотой знаменитую галерею героев 12-го года в Эрмитаже. Там было представлено блестящее общество военных аристократов, здесь были серые русские солдаты, толстовские крестьяне из «Севастопольских рассказов» во всей детской простоте их национального характера.

Потом уже в Польше, где Валишевский испытал трудный путь головокружительного успеха, он вопреки многим даже сильным волей людям, остался верен своей скромности и неприязни к политической игре, к попыткам использовать искусство для целей властвования и шовинизма.

Он резко отстранил от себя дельцов, пытавшихся создать вокруг него националистический ореол великого, но только польского живописца. Он думал, что живопись принадлежит всему миру и содружество истинных художников — более значительная связь между людьми, нежели общие национальные интересы.

Одно только упоминание имени Зиги в семье Зданевичей прекращало все споры, все распри и возвращало людям душевное равновесие.

— Зига — святой человек, — говаривала Валентина Кирилловна. — Он остался у нас заложником от времен Петрарки и Боттичелли.

Говорила она это просто, без тени аффектации. В ее слова можно было поверить, может быть, потому, что красочный мир Зиги был так же ясен, как «Примавера» Боттичелли.

Есть проблески сознания, удачные сравнения и удачные соединения как будто бы противоположных мыслей, которые нельзя объяснить да и не надо объяснять: сердце понимает их, опережая разум.

Ко мне почти каждый день приходил Фраерман. Мы оба работали в газетах, он в «Заре Востока», а я в маленькой железнодорожной газете с нескладным названием «Гудок Закавказья».

Изредка вместе с Фраерманом заходила Соня и, разглядывая клеенки Пиросмана, говорила:

— Эти штуки не для нас, не для работниц иглы. Но я чувствую в них человеческое горе и красоту, и поэтому, товарищ Паустовский, не отрицаю и такое искусство. В этом мы сходимся с вами, хотя вы интеллигент и меня просто тошнит от вашей вежливости.

Соня в прошлом была портнихой и потому упорно называла себя «работницей иглы».

Фраерманы меня к себе не могли позвать потому, что жили в проходной комнате у каких-то горских евреев. Соня называла их «грубиянами» и «быками». Несмотря на свои свободные взгляды, она считала их ренегатами за то, что они носили черкески, фальшивые кинжалы, ездили верхом, торговали буйволовыми шкурами и наполовину забыли еврейский язык.

Фраерман быстро подружился с Марией. Не было ни одного человека, у которого не отозвалась бы на него какая-нибудь даже самая незаметная струна.

Однажды вечером мы сидели в моей комнате — Валентина Кирилловна, Мария, Фраерман, Колау Чернявский и я. Сидели мы, не зажигая огня. Почему-то всем казалось, что от электрических лампочек делается душно.

В легкой темноте тифлисского раннего вечера по комнате бродили, переплетаясь, струи прохлады и тепла от нагретых снаружи кирпичей.

В соседнем доме сентиментальный юноша в косоворотке пел все тот же романс: «Белых лилий Идумей белый венчик цвел кругом».

— Где эта Идумея? — спросила Мария.

— В Иудее, — ответил Фраерман. — На моей так называемой потерянной родине. Вы знаете стихи: «И сказал проводник: «Господин, я еврей, и, быть может, потомок царей. Посмотри на цветы по сионским стенам, это все, что осталось нам».

— Нет, не имею чести знать, — ответил Коля Чернявский, — и даже не очень стремлюсь узнать, кто их написал.

— Это неважно, — ответил Фраерман. — Интересно совсем другое.

— Что другое? — спросила Мария.

— А то, что в Тифлисе уже началась весна. Но никто ее еще не замечает.

— Пойдемте завтра в горы, — предложила Мария.

Все согласились, кроме Валентины Кирилловны. Она заметила, что завтра, оказывается, пасха.

— Очень ранняя пасха в этом году! — добавила она и вздохнула.

Валентина Кирилловна ушла, а мы почти весь вечер промолчали. Мне казалось, что между Марией и мной идет какая-то неслышная, неясная, как дрожь листвы на ночных деревьях, беседа, какой-то разговор сквозь сон.

Так началась весна в Тифлисе — безмолвная, просвеченная всеми отблесками солнца, замороженная весна, такая же, какими кажутся нам все весны в мире, пока нам не миновало семидесяти лет.

На следующее утро мы втроем — Мария, Фраерман и я — пошли за город по дороге в Коджоры.

Мы шли очень медленно, и так же медленно раздвигался перед нами амфитеатр гор, и горизонт открывал одну туманную даль за другой.

За этими недостижимыми горизонтами высоко в небе, начисто оторвавшись от земли, висели, как облака, нагромождения снежных вершин. Между ними и землей лежал слой лилового воздуха.

Внезапно я испытал огромную радость, даже гордость от сознания, что я попал наконец в отдаленный южный край нашей страны, что все здесь необыкновенно, что эти горы вздымаются на перепутье между двумя морями — Черным и Каспийским — и что снова наши жизни сошлись на клочке этой кремнистой дороги, далекой от наших родных мест, что мы стоим на земле, многократно воспетой Лермонтовым и Пушкиным, Нико Пиросманишвили и Сарьяном.

Почему-то именно здесь, высоко над Тифлисом, на обочине дороги, где цвели анемоны, я почувствовал свою родственность всему интересному на земле.

Я подумал о том, что мне, кажется, повезло в жизни. Может быть, главным образом потому, что я не требовал от нее многого. Конечно, я ждал этого многого и стремился к нему, но мог довольствоваться и малым.

С этого дня Мария стала моим проводником по Тифлису. Я испытывал удивительное, как бы двойное чувство жизни. Иначе говоря, жизнь была хороша сама по себе и вместе с тем вдвойне хороша потому, что эту жизнь целомудренно и молча разделяла со мной молодая женщина.

Все в Тифлисе приобрело для меня цену и значение. Часто у меня появлялось странное чувство, что весь этот жаркий город и весь этот шумный люд только декорация для немногословной и грустной пьесы, в которой участвуют всего только два действующих лица — Мария и я.

Мы входили всюду, мы видели много, и единственно, на что нам всегда хватало денег, это ледяная газированная вода. Мы пили ее из запотевших стаканов, облепленных осами. Вода казалась мне серебряной, а губы у Марии блестели от этой воды на солнце, как сок граната. Ее душистое дыхание вдруг доходило до моей щеки или до глаз. И я верил в это короткое мгновение, что счастье должно служить и нам, и всем людям, как верная раба.

Мы ни слова не сказали о любви. Между нами все время лежала тонкая и непрочная нить, перейти которую никто из нас не решался.

Тогда же у меня родилось решение уехать из Тифлиса в Москву. Я уверял себя, что я как-нибудь перенесу горечь этой разлуки, но останусь в памяти Марии преданным и чистым, как юноша.

Кроме того, я успокаивал себя тем, что страшно соскучился по России, по Москве, по любой речонке, где растут кувшинки, по шуму осинового мелколесья.

Все сразу переменялось в жизни. Валентина Кирилловна все чаще заговаривала со мной о маме и Гале, о Москве, спрашивала, что я думаю делать дальше, «ведь нельзя же в такое время бесплодно сидеть в этом провинциальном Тифлисе».

Я понимал, что она все видит, все знает и беспокоится.

Какая-то хмурость вошла в дом. Даже обычный распорядок жизни был нарушен.

Жизнью завладела тревога.

И я решил бежать, главным образом потому, что по всему своему житейскому опыту знал, что я не имею права безраздельно себе доверять. Я жил среди перемен, как в родной своей стихии, избегая всего, что могло бы остановить и образумить меня. Должно быть, прав был мой отец, когда, умирая, сказал мне свистящим шепотом:

— Боюсь... погубит тебя... бесхарактерность...

Я понимал, что, по существу говоря, я всю жизнь плыл по течению. Но, как это ни казалось странным мне самому, течение несло меня именно туда, куда я хотел. Но все же я казнил себя за это свойство.

Я быстро уставал от таких размышлений, старался поскорее забыть их и возвратиться к чисто внешней и разнообразной жизни.

Так я и жил последние дни в Тифлисе. Я никому, даже Марии, не говорил, что это последние дни, хотя знал это. Не говорил потому, что глупо надеялся на судьбу: а вдруг она повернет рукоятку, и сами по себе рухнут все преграды.

Мы исходили вместе весь город, его сады — Ботанический и Муштаид, Майдан, окраинный Авлабар за Метехским замком, Сионский и Анчисхатский соборы, берега Куры и знаменитые престарелые духаны (они тогда еще действовали) «Симпатия» и «Сюр Кура».

На Майдане толпы кинто, торговцев и извозчиков, составив тесный круг, гоняли по середине этого круга дикого кабанчика. Он визжал

и носился с неслыханной скоростью, пытаясь прорваться наружу. Специалисты определяли скорость кабанчика по секундомеру. Шла азартная игра.

Посетители духанов, высунувшись из окон, гоготали, нагоняли ставки и пели разливанные и беспорядочные песни.

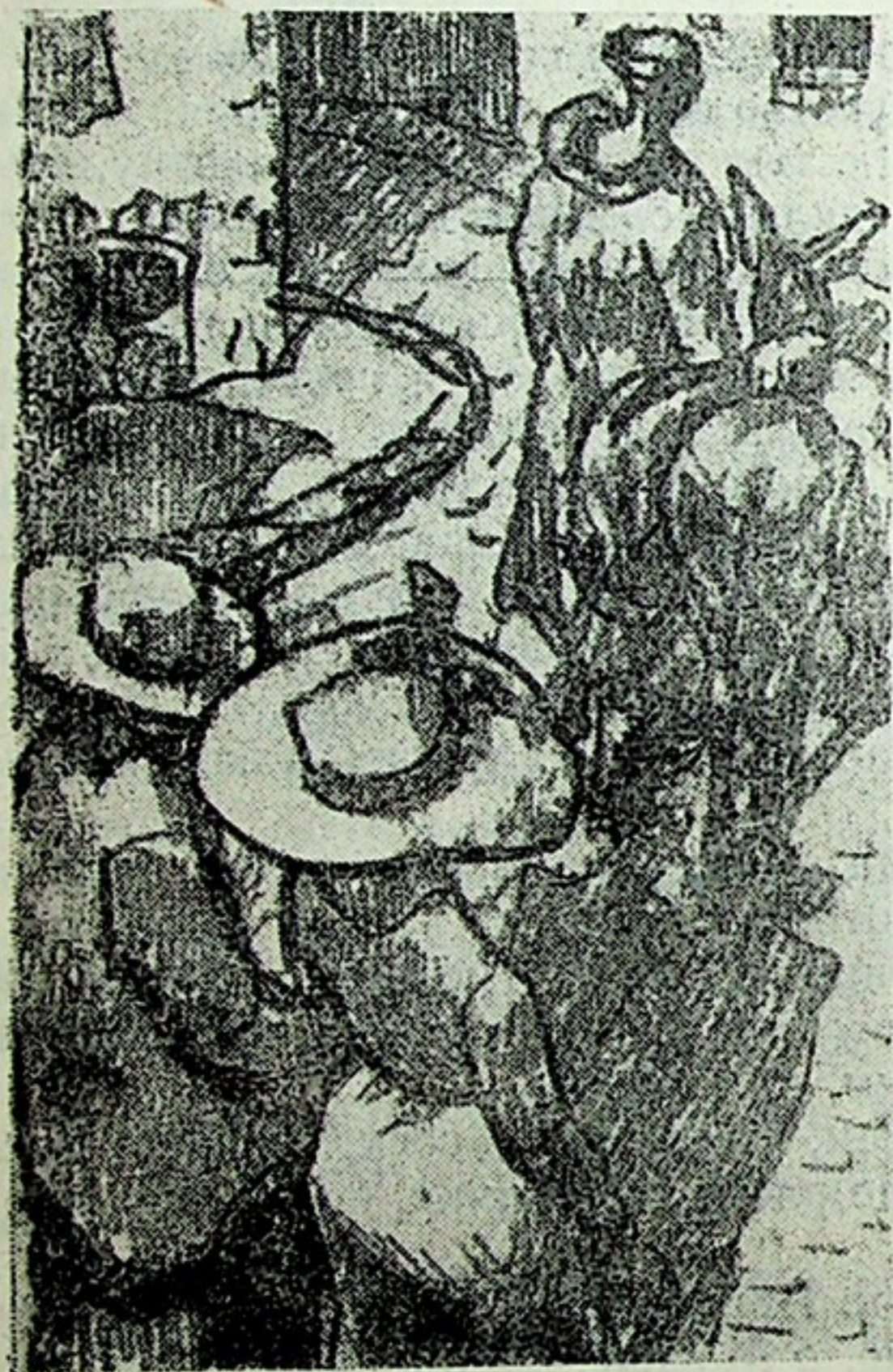
Ишаки, мирно развесив уши, брали у Марии с ладони свежую морковку. Из их замшевых ноздрей вырывался теплый ветер.


Медники устраивали такой перезвон, что начинала болеть голова. Мы старались поскорее миновать их ряды, засыпанные блестящими отрезками жести, меди и цинка.

Тяжелыми гроздьями висели над головой прохожих чувяки. Пахло кожей, вином, уксусом и соком алычи. Из свечных лавок — благостно медом и воском.

Около Сионского собора старушки, высохшие, как корешки, продавали бессмертники. За трамваями, кривляясь и приплясывая, бежали и били в бубны цыганята. Муши тащили на спинах, покрикивая на прохожих, пахучие тюки табака. Цветочницы в одно мгновение составляли букеты по самому прихотливому вкусу. В духане «Симпатия» на стенах были нарисованы портреты великих людей мира — Льва Толстого, Эдисона, Чарльза Дарвина, Пушкина и Наполеона, но все они были жгучими грузинами в черкесах с газырями, с огромными кинжалами на боку.

Мы ходили в тенистый сад Муштаид, где цветы пахли сырой землей,





и в Ботанический сад, где шумел горный поток, сидели на ступеньках древнего, как самые века, Анчисхатского собора; слушали рокот Куры, звон бубенцов на шее у лошадей и молчали.

Все было сказано без слов. И тоска — острая и неистребимая — завладевала сердцем все сильнее.

В разгар этой тоски пришло призрачное избавление от нее: редакция «Гудка Закавказья» послала меня в длительную поездку по Азербайджану и Армении. Я ехал в специальном поезде с комиссией инженеров. Они должны были обследовать состояние закавказских железных дорог.

### ВСЕ ЭТО ВЫДУМКИ!

Поезд шел Памбакским ущельем всю ночь. Ущелье казалось нагромождением плотной темноты. Но время от времени эта темнота просвечивалась десятками огней, становилась легкой, невесомой, и свет фонарей освещал с изнанки сотни листьев самых разных форм.

Я не спал. Я окончательно решил остаться в Тифлисе. Мне казалось невозможным жить вдалеке от Марии. Я был готов на все, — пусть она ни разу не взглянет на меня, но, может быть, я вдруг услышу утром, днем или вечером ее отдаленный голос. Пусть одно и то же небо простирается над нами, и вот это облако, похожее на голову рыцаря в забрале, будет одинаково видно и ей и мне.

В Тифлис поезд пришел среди дня, в самое тяжелое время, когда жара превращает в серый цвет все краски и грязнит воздух.

Я очень волновался, когда ехал на извозчике к Зданевичам. У меня в ногах на пролетке лежала мраморная плита неслыханной красоты.

Переулок, где жили Зданевичи, был пуст, расплавлен солнцем. Окна в их квартире были закрыты. Когда я позвонил у дверей, мне долго не открывали. Это почему-то испугало меня. Извозчик втащил на площадку мраморную плиту, сказал: «Кому привез этот памятник, бабушке или дедушке? Дорогой подарок, кацо!»

Я позвонил снова. Из-за двери Валентина Кирилловна спросила:

— Кто?

Я назвал себя.

— А я вас сегодня не ждала, — сказала она, открывая дверь.

В темной передней мутно горела электрическая лампочка, и в ее свете смотрел на меня со стены встревоженный, испуганный жираф, будто хотел предупредить меня о какой-то беде. Во всех комнатах было темно.

Валентина Кирилловна меня сегодня не ждала. Это я понимал прекрасно. Но где Мария? Ждала ли она меня сегодня? Почему в квартире темно и никого нет?

— Что случилось? — спросил я.

— Ничего не случилось, — ответила Валентина Кирилловна, и мне показалось, что она усмехнулась. — Просто никого нет дома. Мария уехала на два месяца в Боржом. Врачи предписали ей лечение в Боржоме. А что это за надгробный памятник?

— Это прекрасная вещь, — ответил я. — Ей пятьсот лет, не меньше.

— Пусть извозчик отнесет ее на террасу, а то тут все будут о нее спотыкаться, — сказала Валентина Кирилловна и, повернувшись, пошла к себе. На пороге своей комнаты она обернулась и сказала: — Тем более, что это — ваши выдумки...



Я вошел в свою комнату и почувствовал, что, пока меня не было в Тифлисе, комната умерла.

Я осмотрел стол. Я был почему-то уверен, что увижу на нем хотя бы самую маленькую записку от Марии. Но записки не было.

За окном знакомый медоточивый тенор запел о лилиях Идумеи. Я взглянул на часы. Была половина первого, — самый слепой и знойный перевал дня.

— Идиот! — громко сказал я о медоточивом певце.

Мне захотелось заплакать, но я сдержался из последних сил.

Я вышел. Зной обливал меня, как горячий чай. Но я от него не прятался и шел по солнечной стороне улицы. Я прошел по Верийскому дрожащему мосту над Курой, зашел в «Гудок», сказал, что завтра уезжаю на север, попросил меня ни о чем не спрашивать и вышел. Я пошел в сад Муштаид и долго сидел в тени, на скамейке, потом сел прямо на землю — она была холодная в тени.

Я набирал эту холодную землю в ладонь и прикладывал ко лбу.

Мне хотелось стонать от резкой до боли, совершенно ясной мысли, которая до этого дня еще никогда не приходила мне в голову, стонать от сознания своего полного, невыдуманного, а действительного и потому отвратительного одиночества, от сознания, что я не нужен никому: ни Марии, ни так называемым друзьям, ни самому себе.

Спазма, как всегда, стиснула мне горло. Ну, а мама? А Галя? Только они могли меня простить. Если бы было можно, то я позвал бы маму, попросил помощи и защиты. И, может быть, я и вправду крикнул что-нибудь, потому что ко мне подошел бородатый человек с огромной медной бляхой на груди, должно быть, сторож, и сказал:

— Ты больной? Уходи отсюда. Тут дети гуляют-играют.

И я ушел. Теперь я точно знал, что нужно делать: ехать в Киев, только в Киев, к маме и Гале, и только это может успокоить меня, только это.

Да откуда я взял, откуда выдумал, что связан с Марией каким-то общим волнением и общей тревогой? Чепуха! Да, я был связан, но она, может быть, даже не подозревала об этом. Это все выдумки! Не более, как мои выдумки. Пусть будет так!

Тифлисский вокзал был недалеко от Муштаида. Я пошел на вокзал, взял билет на местный поезд до Боржома и уехал.

Я ничего не видел за окнами и заметил только, что поезд идет необыкновенно быстро — так быстро, что трудно было усидеть на деревянной скользкой скамье.

В Боржоме я вышел, тут же взял билет на обратный поезд и к вечеру вернулся в Тифлис. Кроме вокзальной площади, я ничего в Боржоме не видел.

Открыла мне Валентина Кирилловна.

— Вы сегодня что-нибудь ели? — спросила она.

— Да... Спасибо... Я завтра уезжаю в Россию. Утром я зайду отдать долг и попрощаться.

Я быстро вошел в свою комнату и закрыл изнутри дверь на ключ. Слащавый идиот опять пел свой романс о белом венчике лилий.

Со стены смотрел испуганно и тревожно жираф, и мне казалось, что губы у него дрожат, как у детей, собирающихся заплакать.

Не раздеваясь, я лег на тахту. Под подушкой что-то зашуршало. Я

поднял ее и увидел записку. Она была от Марии. В ней была всего одна фраза:

«Благословляю вас. Прощайте».

Всю дорогу до Киева я думал об этих словах и пытался растолковать их самому себе. Во всяком случае, эти слова не принесли мне ни единой крупички утешения. «Все это выдумки!» — повторял я навязшие слова.

Да, но что же делать, если без выдумок тоже нельзя жить?

ЯЛТА — ТАРУСА НА ОКЕ

1959—1960 гг.





*Серго Пхакадзе*

## Вражий глаз

*Из книги „Сказки нашего детства“*

Перевод с грузинского Э. Елигулашвили



Лой недуг одолел единственного сына и наследника властелина Грузии. Царские лекари перепробовали сотни лекарств и целебных трав, гонцы объездили всю страну в поисках целителя. Но все было тщетно — никто не мог помочь безнадежно больному юноше.

Гнетущая тишина охватила царский дворец. Только государь в отчаянии молча ходил из зала в зал. Да государыня горько рыдала у изголовья больного сына. А многочисленные назирь-визирь и прочие царские прислужники испуганно попрятались по углам, стараясь не попадаться на глаза своему властелину, разгневанному от сознания бессилия перед лицом неведомой и неизлечимой болезни.

Безрадостные и безнадежные дни сменяли друг друга. Царевич с каждым часом худел, бледнел, таял на глазах.

Весть о болезни грузинского царевича достигла ушей могущественного и жадного персидского шаха. Призвал он своего придворного лекаря и приказал:

— Повелеваю тебе: отправляйся сейчас в Гурджистан и излечи сына тамошнего властителя. Когда же царь захочет наградить тебя, — от всего откажись. Возьми столько золота, сколько весит один глаз моего отца.

Оглянувшись шах на застывших в безмолвном удивлении придворных, улыбнулся зловеще и добавил:

— Глаз старого шаха немало потянет на чаше весов. Придется царю опустошить свою казну. И тогда, — шах грозно поднялся и указал рукой на север, — тогда пойдем мы на Гурджистан с огнем и мечом, и не устоит опустошенная страна перед нашим могуществом!



Взял шахский лекарь драгоценный глаз в черной гишерово<sup>кой</sup> р<sup>обочке</sup> и отправился в путь.

Однажды вечером, когда царские прислужники сидели в саду и вполголоса беседовали о постигшем страну несчастье, вдали на дороге показался караван. Разноцветные чалмы и запыленные узорчатые халаты путников свидетельствовали о том, что были они чужеземцами и прошли немалый путь, прежде чем достигли Грузии.

Доложили царю о прибытии гостей. Отдал царь приказание — открыть тяжелые железные двери в ограде дворца, пропустить приезжих. Посланец персидского шаха почтительно склонился у трона.

— С чем пожаловал, чужеземец? — спросил царь.

— О царь, — отвечал приезжий, не подымая глаз, — узнал мой повелитель, великий шах Персии, о твоём горе и послал меня. Может быть удастся мне помочь твоему наследнику освободиться от томящей его болезни.

Сердце отцовское! Никогда не гаснет в нем искра надежды, и теперь разгорелась эта искра в яркий огонь.

Осмотрел лекарь из Персии больного царевича, обещал отчаявшимся родителям вылечить их сына, а в награду себе попросил столько золота, сколько весит человеческий глаз. Немало подивился грузинский царь необычной просьбе, но тотчас же согласился выполнить ее не говоря ни слова.

Принялся заезжий лекарь за дело. Смешивал какие-то травы, готовил неведомые притирания, составлял таинственные настои. И отступила грозная болезнь перед иноземным чудотворцем. Оправился царевич от недуга, столько месяцев снадавшего тело его и душу, поднялся на ноги. Радость объяла всех, перехлестнула за ограду царского дворца, охватила всю страну. Жизнь одержала победу над смертью, — может ли быть лучший повод для празднеств и ликования!

Настал день, когда лекарю предстояло возвратиться на родину.

— Наградить дорогого гостя по-царски, — повелел государь своему казначею, — выдать ему вдвое больше того, что он попросит.

Однако не мог лекарь послушаться шахского приказа:

— Ничего мне не надо, прошу только золота столько, сколько весит один глаз человека.

Принесли весы по царскому приказанию. Лекарь достал черную гишеровую коробку, открыл ее, достал глаз и осторожно положил на чашу весов. Колыхнулась чаша и вдруг тяжело опустилась до самого пола, будто положили на нее большой камень. Вздрыгнули и отпрянули придворные, затрепетал от тяжелого предчувствия царь, побледнел выздоровевший царевич.

— Глаз шаха! Глаз старого шаха! — зашептали кругом. Старый военачальник, поседевший в битвах с многочисленными врагами, сделал шаг вперед, осмотрел внимательно чашу весов с ее зловещим грузом и подтвердил:

— Да, государь! Это глаз старого шаха Персии. Вы не раз встречались с шахом в битвах лицом к лицу. При жизни зарился он своим жадным глазом на нашу родину, и теперь не оставляет в покое.

— Глаз старого шаха! — повторил царь. — Злой глаз, он принесет нам несчастье.

Недобрая тишина установилась в зале. Все взоры были прикованы к перекосившимся весам. И только лекарь-чужеземец решился прервать молчание.



— Что ж, государь, я жду! — проговорил он.

Царь вздрогнул, словно очнулся от кошмарного сна. Оглядевшись вокруг, он приказал:

— Казначей, приступай к делу!

Казначей достал из царской сокровищницы небольшой слиток золота, осторожно, на цыпочках подошел к весам и, стараясь не глядеть в ту сторону, где зловещим тусклым светом мерцал глаз персидского шаха, бросил золото на другую чашу. Весы не шелохнулись.

Принес казначей еще золота. Насыпал горсть жемчугов. Снова золото... Жемчуга, бриллианты... Все было тщетно — чаша весов с шахским глазом даже не оторвалась от пола. И всем окружающим казалось, что в тусклом мертвенном свете этого глаза меркнет и гаснет сияние золота и драгоценных камней на другой половине весов. Непонятная сила сковала всех, никто не шевелился, не было слышно ни звука. Только седой военачальник, наклонившись к самому уху царя, шептал:

— Прикажи, государь, я здесь же расправлюсь с неверным, принесшим нам зло!

Царь отвечал:

— Этот человек принес нам добро, избавил царевича от смерти. Зло же идет от ненасытного глаза чужеземного властителя...

...Придворные носили и носили сокровища. Вот уже подошли к концу все запасы, а глаз, казалось, все увеличивался и рос, требуя новых приношений. Казначей и военачальник вышли на балкон, чтобы обсудить создавшееся положение. Долго совещались они, но не могли найти никакого выхода — обессиленная, опустошенная страна не смогла бы бороться с врагами.

В царском саду под балконом склонился над розами старый садовник, напевая про себя веселую песенку. Это была любимая песенка царевича, но с тех пор, как он заболел, никто во всем государстве не пел ее. Теперь царевич поправился, и добрый садовник вспомнил ее — откуда он мог знать, что над страной нависло новое, еще более страшное несчастье. Взволнованные голоса придворных привлекли внимание садовника. Прислушавшись и разобравшись в чем дело, он решился прервать беседу важных господ:

— Позвольте мне посмотреть на то, что вас взволновало и расстроило.

Когда садовник, сопровождаемый военачальником и казначеем, вошел в дворцовый зал, он услышал, как царь, отчаявшись, воскликнул:

— Лучше погибнуть, чем нарушить данное мной слово! Дадим все, что у нас есть, лишь бы удовлетворить этот ненасытный глаз.

Садовник, подойдя потихоньку к самой середине зала, где стояли весы, спокойно произнес:

— Зачем погибать, государь! Нам жить надо. А с врагами иначе надо обращаться.

С этими словами старик вышел. Вернувшись через минуту, он снова подошел к весам и насыпал на ненасытный шахский глаз щепотку самой обычной, рассыпчатой легкой земли. И сразу глаз потух, чаша весов взметнулась кверху. С облегчением вздохнул царь и его придворные. А старик-садовник добавил:

— Много глаз на нашу землю смотрело. Для доброго, дружеского глаза никаких богатств не жалко. Но врагам никогда не насытятся — горстка нашей земли погасит жадный огонь их глаз.



*Акакий Церетели*

*Нынешней осенью грузинский народ отмечает 120-летие со дня рождения великого классика грузинской литературы Акакия Церетели. В связи с приближающимся юбилеем мы предлагаем читателям перевод одного из лучших его стихотворений, написанного поэтом в 1902 году, в мрачную эпоху самодержавного гнета, в преддверии могучего революционного подъема. В этом стихотворении с особой силой сказался исторический оптимизм Акакия Церетели, его неистребимая вера в народ, который, по мысли поэта, единственный способен спасти Родину от порабощения. В пророческой картине грядущей победы восставшего народа, нарисованной поэтом, полностью сказались его революционно-демократические и национально-освободительные идеалы. Через два-три года после написания этого стихотворения грянула буря 1905 года, которую восторженно приветствовал ее грузинский буреветник — Акакий Церетели. А еще через полтора десятка лет поднятый и вдохновленный Октябрем грузинский народ навеки сбросил с себя все сковывающие его цепи.*

**Моя Иеремиада**

Перевод с грузинского Георгия Маргвелашвили

По ком твой плач, Иеремия?  
 К чему ты эти слезы льешь?  
 Ерусалим вернешь, вития,  
 Иль Соломонов храм спасешь?  
 Глас вопиющего в пустыне  
 Проймет ли наши города,  
 Где распоясалась отныне  
 Кровавых иродов орда?  
 Их сила горы перепашет.  
 Как нам унять господен гнев?  
 Сползлись убийцы, по-монашьи  
 Личину благости надев.  
 О, фарисеи, фарисеи,  
 Прислужники слепые тьмы!  
 Как вы растлили ротозеев,  
 Как развратили их умы!  
 С Иудой снюхавшийся Ирод  
 Опасней римских воевод —  
 Не смоют кровь с его порфиры  
 Потоки иорданских вод.  
 Раскошелится он, надеясь,  
 Что сотники за эту мзду  
 В крови утопят и младенца,  
 И Вифлеемскую звезду.

Ну а Кайафа или Анна,  
Первосвященники страны,  
Под занавес речей туманных  
Сердцами в Рим устремлены.

Народ же подражать им волен:  
Грешат вожди — и он таков.  
А Рим ликует, Рим доволен,  
Что околпачил простаков.

И всё уже в ином обличье —  
Нам слава предков не сладка.  
Спешим Иуду возвеличить,  
Пускаем правду с молотка.

И, как всегда в беде бывает,  
Когда Заступник обречен,  
Пилаты руки умывают —  
«Мы — сторона, мы ни при чем!..»

Так вот они — плоды и всходы  
Порабощенья! Вот каков  
Удел, дарованный народу  
Кровавой щедростью веков!

И вот о чем скорбит и плачет  
Пророк в провидческой тоске! —  
Сквозь мглу времен пред ним маячат  
Крест и Голгофа вдалеке...

О, плачь же, плачь, собрат мой древний!  
Утешь меня! Давно уже  
Твоя пророческая ревность  
Отозвалась моей душе.

Будь снисходителен к былинке,  
Что потянулась за тобой,  
Увы, не стать моей волынке  
Иерихонскою трубой.

Но мы равны пред божьим ликом,  
Его десница нас ведет,  
И нас одно и то же лихо,  
Одна и та же боль гнетет.

Звони, звонарь! Поведай людям  
Боль Амирановой души!  
Всех, кто погряз в трясине буден,  
Набатным звоном оглуши!

Да будет проклят день вчерашний,  
Треклятье — нынешнему дню,  
Но я в спасенье верю наше  
И потому печаль гоню.

И потому я напеваю  
В душе заветные слова,  
И потому я повторяю  
Их вновь и вновь, пропев едва:

«Среди гор Кавкасиони  
С кровожадным вороньем

Богоборец пригвожденный  
Бьется смело день за днем.  
В цепь закован — бьется грудью,  
Сердце насмерть пронзено,  
Но каким-то тайным чудом  
Воскресает вновь оно.  
В человеческие руки  
Отдал он огонь богов,  
И, приняв земные муки,  
К новым подвигам готов.  
Вот уже в долготерпенье  
Боль поправ смертельных ран,  
И не преклонив колени, —  
Выйграл битву Амиран!  
Завоевана свобода,  
Сброшен в бездну рой химер, —  
Человечеству преподан  
Высшей доблести пример.  
...Среди гор Кавкасиони  
В окруженьи воронья,  
Амиран порабощенный —  
Это родина моя.  
И она, настанет время,  
Цепи рабства разорвет.  
И она, повергнув бремя,  
Встретит радости приход.»

Вот почему я напеваю  
В душе заветные слова,  
Вот почему я повторяю  
Их вновь и вновь, пропев едва.

Вот почему я в лихолетье  
Пою расцвет грядущих дней...  
Грядите же! И в прах развеите  
Страданья родины моей!

Приди, спаситель Амираана,  
Брось дерзкий вызов небесам!  
Пролей на вековые раны  
Свой чудодейственный бальзам!

Никто чудес не смог добиться —  
Не отвели судьбы удар  
Ни меч державного Давида,  
Ни чары солнечной Тамар.

И есть ли в мире мощь грознее  
Могущества былых веков,  
Чтоб навсегда умолк пред нею  
Лязг Амирановых оков?

О есть! Ее сама природа  
Навеки в дар преподнесла  
Народу! Только лишь народу!  
И духом Воли нарекла!

О мой народ! Бессмертный пахарь!  
Кузнец своей большой судьбы!



Иди вперед, не зная страха,  
Дорогой воли и борьбы!

Без ропота и укоризны  
Доверься избранной звезде,  
И выведет она Отчизну  
К обетованной борозде!

За пеленою небосклона  
Могучей поступью колонн  
Рабочий люд объединенный  
Уже штурмует Вавилон.

Уже прорублены дороги,  
Уже проложены мосты,  
Вчера кровавые отроги  
Благоуханны и чисты.

С победой! С миром и победой  
Тебя, могучий легион!  
Ты осветил и ты разведал  
Туман и мглу лихих времен.

Ты Тариэла с Автандилом  
Растил и пестовал! Твоя  
Десница дерзкая водила  
Их в бой в Каджетские края!

О, как вы счастливы, потомки!  
И как хочу я с вами быть!  
Забыв неволю и потемки,  
Любить, смеяться, в рог трубить!

И видеть всюду воплощенной  
Мою извечную мечту —  
Раскрепощенных и отмщенных  
Добро, невинность, чистоту.

И пусть все яростней звереет  
Смерть у порога — вы со мной!  
И весь я ваш — с моей свирелью,  
С моею лирой роковой!

Я вам их, дети, завещаю.  
Я ими жил, они меня  
Будили звонким верещаньем  
На склоне горестного дня.

Они мне пели, что Отчизна  
Еще жива, не умерла,  
И что воскреснут к новой жизни  
Ее мечты, ее дела.

Гурам Асатиани

## Дружба, взаимообогащение...

Окончание

В 1924 году Николай Тихонов еще не был так кровно связан с грузинской действительностью, как в то время, когда он стал писать «Стихи о Кахетии». Его грузинские впечатления в это время еще не оформились до конца, еще не стали органической частью его внутреннего поэтического мира.

«Дорога» в гораздо большей степени отражает те настроения и образы, которые Тихонов привез с собой в Грузию, чем то, что он непосредственно увидел и пережил в этой стране.

За десять лет, отделяющих «Стихи о Кахетии» от «Дороги», Тихонов прошел большой и сложный путь творческого развития.

В некоторых стихотворениях конца 20-х гг., основной пафос которых заключается в борьбе против мещанства, Н. Тихонов поэтически излагает своеобразную концепцию непримиримой враждебности между заурядной реальностью быта и возвышенной красотой поэтического вымысла.

Эта противоположность между действительностью и художественным вымыслом ощущается, в частности, в известных строках стихотворения «Просто дом»:

Я трижды выдумаю сам  
Людей, чем изучать их  
По лживым, комнатным кускам,  
По шороху, по платью.

Начало см. «Литературная Грузия», № 7. Статьей Г. Асатиани редакция начинает публикацию материалов о дружбе и взаимообогащении грузинской и русской поэзии. В одном из ближайших номеров будет напечатана статья на эту тему критика Бесо Жгенти.

В стихотворении же «Ремонт» (1929 г.) автор, наоборот, сознательно отказывается от «снопов фантазии» и от всякой «мечты», объявляя главным и почти единственным достоинством стиха «точность и добротность».

Для автора «Орды» и «Браги», для его «праздничной, веселой и бесноватой» поэтической природы это было, несомненно, попыткой самоотрицания.

В стихах о Кахетии (1935 г.) Николай Тихонов как бы вновь нашел себя и свой истинный поэтический голос. Здесь снова со всей силой зазвучал глубоко своеобразный и самобытный тихоновский стих. Только голос поэта стал чище и вместе с тем богаче новыми оттенками.

Поэтическое мироощущение автора «Гомбор», «Охотника» и «Ночного праздника в Алла-верди» вновь приобрело «праздничный» характер, исполненный радостного чувства полноты и многогранности бытия.

Тихонов как бы вновь открыл «богатство земли». В этом творческом сдвиге отразилось и то обогащающее воздействие, которое оказало на Тихонова знакомство с лучшими образцами грузинской поэзии.

Выступая на первом Всесоюзном съезде советских писателей, Н. Тихонов говорил:

«Я горячо рекомендую знакомиться с поэзией наших братских республик. Я испытывал громадное удовольствие, переводя грузинских поэтов...»

Это было «удовольствие» прежде всего от созвучности идей и мировос-

приятия, которую Тихонов ощутил в творчестве своих грузинских друзей.

Не случайно одним из первых произведений, переведенных Тихоновым, было стихотворение Георгия Леонидзе «Поэту», которое по своему содержанию прямо перекликалось с тогдашними творческими поисками русского поэта.

В «Стихах о Кахетии» Тихонов навсегда преодолевает ощущение разрыва между «серой» реальностью и красочной выдумкой поэзии.

Прекрасное раскрывается перед его глазами разлитым в буйном цветении земли, и та возвышенная романтика, которая раньше противопоставлялась им будням действительности, оказывается свойством самой жизни.

Природа Грузии становится для Тихонова близкой и понятной, но вместе с тем она открывает поэту все новые и новые грани и неисчерпаемую силу вдохновения:

Я не изгнанник, не влекомый  
Чужую радость перенести.  
Мне в этом крае все знакомо,  
Как будто я родился здесь.

И все ж с Гомборского разгона,  
Когда в закате перевал,  
Такой неистово зеленой  
Тебя, Кахетия, не знал...

И к поэту вновь возвращается ощущение той внутренней монументальности явлений бытия, которое было присуще его лучшим вещам из «Орды» и «Браги».

«Заботой мастера, — говорил Николай Тихонов в 1934 году в своем выступлении на съезде советских писателей, — должно быть умение организовать в стихе множественность переходов от возвышенного рассуждения к прозаической картинности, воспитать в себе способность говорить о многом, умение создать лирическую многотемность».

Это стремление приблизить лирику к жизни, расширить ее рамки и обогатить ее новым жизненным содержанием (кстати сказать, полностью совпадавшее с исканиями ряда грузинских поэтов тех же лет) нашло свое яркое выражение в кахетинском цикле Тихонова.

В «Ночном празднике в Аллаверди» поэт средствами «прозаической картинности» создал блестящие эпические образы, которые органически вошли в его лирику.

Автор «Стихов о Кахетии» с восторженной любовью стремится перенести в свой стих причудливые очертания и «неистово» яркие краски окружающего мира. Палитра Тихонова становится богаче и сочнее.

Но эта тяга к земным краскам не лишает тихоновского стиха его крылатости. Наоборот, связь с грузинской действительностью еще больше усиливает романтическую приподнятость его поэзии.

В «Стихах о Кахетии» связь Тихонова с традициями русской классической поэзии приобретает более глубокий и внутренне осмысленный характер по сравнению с поэмой «Дорога». Сближение Тихонова с пушкинскими и лермонтовскими традициями находит свое выражение в это время и в стремлении к простоте. Образы Тихонова становятся более четкими и прозрачными, язык более отточенным и лапидарным.

Еще органичнее эта связь с классикой ощущается в созданной после Отечественной войны книге стихов «Грузинская весна». Однако здесь преемственность классических традиций для Тихонова не ограничивается рамками только русской поэзии. Можно сказать, что к этому времени для Тихонова не менее органичными становятся и традиции грузинской классики. Здесь, конечно, речь идет не о подражании тем или иным литературным образам, а о своеобразной творческой перекличке с ними.

Не случайно, например, что Тихонов, переведший на русский язык стихотворение Н. Бараташвили «Синий цвет», в котором поэт клянется «истаять в любви синецветных высот», с таким вдохновением воспел «неснившуюся синеву» сванетских долин.

Характерно, что Тихонов — страстный поклонник Руставели, Бараташвили и Важа Пшавела — как переводчик особое внимание уделил не классике, а современной грузинской поэзии. Его перу принадлежат переводы почти всех выдающихся поэтов Советской Грузии. Особенно много он переводил А. Шаншиашвили, Тициана Табидзе, Георгия Леонидзе, Симона Чиковани, Ило Мосашвили, Ир. Абашидзе, Гр. Абашидзе и др.

В творчестве поэтов своего поколения Николай Тихонов, естествен-

но, находил больше близких его сердцу черт, больше созвучности его собственным мыслям и настроениям.

В частности, попытки обогащения поэзии элементами «прозы» у Тихонова во многом перекликались с тем, что утверждалось в творчестве грузинских поэтов.

Однако не удивительно, что еще более близкой для Тихонова стала поэзия тех мастеров грузинского стиха, которые своим творчеством непосредственно были связаны с воспетой им Кахетией.

В поэтическом цикле «Радуга в Сагурамо», который входит в книгу «Грузинская весна», есть одно стихотворение, красноречиво свидетельствующее о том, как грузинская поэзия помогла Тихонову по-настоящему понять и полюбить Грузию:

Представить не могу Кахетию  
Я без стихов Шаншиашвили,  
В какое славное столетие  
С какой землей они дружили!

...И сидя с ним за чашкой глиняной,  
Вино пригубливая красное,  
Я удивляюсь, сколько именно  
Он знает истинно прекрасного.

Он знает нравы и обычаи  
Общегрузинские, джуганские  
И песни, полные величия,  
И сказки острые крестьянские.

...И если б не было Кахетии  
С ее просторами сердечными,  
Ее придумал бы, чтоб петь ее  
И пить ее здоровье вечное!

В самом деле, поэзия одного из старейшин современной грузинской литературы А. Шаншиашвили, глубокими корнями вросшая в родную почву, неотделима от всего, что видел и чем восхищался Н. Тихонов в Кахетии.

Такие стихи грузинского поэта, как «Кахетия», «Дуб в чиаурском лесу», «Кахетинская невеста», учили Тихонова видеть этот край во всем его живописном своеобразии, с его «истинно прекрасными» нравами и обычаями, «полными величия» легендами и не менее прекрасной действительностью. Стихи Шаншиашвили, полные здоровой народной мудрости и жизнеутверждающей силы, подобно тем кахетинским мастерам, которые «людей учили, чтоб

был весел человек», прочно и на всю жизнь породнились с поэзией русского писателя.

Но ближе других грузинских поэтов Тихонову несомненно оказался другой вдохновенный певец Кахетии — Георгий Леонидзе.

Не случайно именно его Тихонов переводил больше всех.

Хотя, например, в стихотворении Тихонова «На горе Зедазени» образ «уснувшего печенег» безусловно навеян известными лирическими стихами Георгия Леонидзе «Кипчакская ночь» и «Свидание кипчака» (первое из которых блестяще перевел сам Тихонов), главным в творческой близости Тихонова и Леонидзе является не совпадение тех или иных поэтических мотивов, а роднящее чувство историзма, способность воспринимать историческое прошлое Грузии как неотъемлемую часть ее настоящего.

Поэзию Тихонова и Леонидзе роднят также некоторые внешние признаки их творчества, в частности, общая для них склонность к «праздничной» интонации и к радужной образительности языка.

Сравним тихоновские строки:

А гром за Гори уходил,  
Там небо лиловело,  
Всей пестротой фазаньих крыл  
Земли светилось тело...

с образами стихотворения Г. Леонидзе «Сад Картли»:

Картли вся — один блестящий  
Сад, осыпанный эмалью,  
Сад, где яхонтовы ливни,  
Где цветущей веет далью.  
Как фазанья шея светит,  
Майским ливнем опьяненный,  
Не нарадуется саду  
Глаз весны светло-зеленый.

Лучшие грузинские стихи Николая Тихонова как бы внутренне приподняты тем веселым и неугомонным порывом, который и составляет своеобразие романтической возвышенности его поэзии.

И эта буйная, клокочущая, «бесноватая» сила также очень напоминает то, что пишет Н. Тихонов о поэзии Г. Леонидзе:

Заря через сумрак рассветный  
Как розовый кралась олень.  
Являлся потом многоцветный,  
Стихами пронизанный день.

И, правды стиха не унизив,  
Природа вставала над ней,  
Над шквалами стрф Леонидзе  
Всей песенной силой своей.

Можно указать и на некоторые другие особенности, сближающие творчество Тихонова и Леонидзе.

Однако было бы большой ошибкой думать, что все эти родственные черты говорят о какой-то тождественности творческих индивидуальностей двух поэтов. При всей близости отдельных сторон их поэзии, несомненно, Тихонов и Леонидзе — поэты, глубоко отличные по своей природе. Каждый из них имеет свою творческую биографию, свой поэтический мир и главное — оба они глубоко национальные, неразрывно связанные с родной почвой художники.

Воспевая «ликование громких лавин Кавказа» и подобные «застывшим в воздухе поэмам» ступени льдов, проникаясь «строгой» любовью к синеве сванетских долин и к величавым башням Сигнахи, Тихонов везде, в каждом своем стихотворении остается прежде всего русским поэтом.

И искренность этой любви и «верности такой, что все ничто пред ней», тем более дорога, что это — любовь друга и собрата, который пришел в Грузию с открытой, честной и мужественной душой.

«Стихи о Кахетии» и «Грузинская весна» принадлежат к числу лучших образцов советской поэзии о дружбе народов нашей Родины.

Это — замечательный пример того, как нужно советскому писателю подходить к этой теме, образец не простой поверхностно-декларативной трактовки, а глубокого и всеобъемлющего переживания этой темы.

В этом отношении творческий пример Николая Тихонова имел принципиально важное значение, в частности, и для грузинских советских поэтов, лучшие из которых в своих стихах с такой же глубокой убежденностью воспели братство народов.

В творчестве Н. Тихонова, одного из зачинателей советской поэзии, поэты Советской Грузии, сблизившиеся с ним в 30-х годах, могли найти и другие, очень ценные и нужные для них качества. В частности, характерное для тихоновской лирики естественное слияние личного, интимного

начала с мотивами революционной, народной героики; которое находит блестящее осуществление в первом же стихотворении кахетинского цикла «Гомбори»:

И в этот миг совсем не сотый,  
Когда ты в жизни жил не зря,  
Сроднив и спутав все высоты,  
Почти о счастье говоря,  
Ты ищешь в прошлом с легкой

дрождью:

Явись опять, зеленый зной, —  
Год двадцать первый встал и ожил  
Над мамисонской крутизной.  
Тобою, Киров, как знамена,  
Снега Осетии зажглись,  
Когда, не спешась, эскадроны  
Переходили в них на рысь...

Тихоновские стихи о Грузии, которые вобрали в себя так много «истинно прекрасного», всю пестроту фазаньих красок земли, «такой родной и вешней», и не менее богатую гамму интимных переживаний и раздумий поэта, учили не эстетской созерцательности или лирическому эгоцентризму, а по-настоящему идейной, остро-политической, революционной поэзии, лишенной, однако, всякого схематизма и декларативности.

Именно этой дорогой пошли тогда и лучшие талантливейшие поэты Советской Грузии.

Дружба и сотрудничество Николая Тихонова и других выдающихся представителей старшего поколения русской советской поэзии с грузинскими писателями, их многолетние тесные связи олицетворяют собой новые творческие взаимоотношения, ставшие возможными только в нашу эпоху.

Николай Тихонов, Павел Антокольский, Борис Пастернак, Николай Заболоцкий и другие пришли в Грузию не в поисках «ориентализма и экзотики», а для того, чтобы вместе с грузинскими поэтами «строить новую жизнь и новую поэзию».

Грузия предстала перед ними молодой, строящейся, устремленной в будущее.

Это во многом обусловило сходное по своему характеру отношение к «грузинской теме», которое мы наблюдаем в их творчестве.

Однако каждый из этих поэтов открыл в Грузии и в грузинской поэзии также и наиболее близкие себе черты, отвечающие его собственным творческим идеалам.

Так случилось и с Николаем Заболоцким, приехавшим в Тбилиси летом 1936 года с конкретной творческой задачей начать работу над вольным переложением «Витязя в тигровой шкуре» и на всю жизнь связавшим себя с классическим наследием грузинской поэзии.

В течение двух десятилетий Н. Заболоцкий осилил поистине исполинский труд. Он перевел на русский язык ряд лучших поэтических творений грузинских классиков. За вольным переложением поэмы Руставели последовали переводы стихов и поэм Давида Гурамишвили, Гр. Орбелиани, И. Чавчавадзе, А. Церетели, Важа Пшавела и других мастеров грузинского стиха. Благородный труд русского поэта завершился вторым переводом (на этот раз точным) «Витязя в тигровой шкуре».

В последнем литературном выступлении Заболоцкого — в статье «Мудрость Руставели» он как бы обобщил опыт всей своей переводческой работы, показав, что его привлекало в грузинской классике.

В поэме Руставели особенно созвучно творческим убеждениям Заболоцкого понимание поэтического искусства, как «области» проявления человеческой мудрости, в творчестве Давида Гурамишвили — здоровый просветительский дух, в поэзии Важа Пшавела — своеобразный поэтический «пантеизм», берущий начало в народном, фольклорном миропонимании.

Не удивительно, что автору «Лодейникова» и «Метаморфоз» больше всех из литературных персонажей грузинской классической поэзии полюбился герой поэмы Важа Пшавела Миндия, открывший таинственный смысл «языка» растений и животных.

Такие стихи Н. Заболоцкого, как «Я не ищу гармонии в природе», «Ночь в Пасанаури» и «Завещание», написанные им в последние годы жизни, перекликаются с характерным для поэзии Важа Пшавела пониманием природы.

Глубокое знание грузинской классики, умение органически слиться с образами героев многовековой грузинской поэзии предопределили своеобразное видение самой действительности Грузии в творчестве Заболоцкого.

В стихотворении «Сагурамо» природа Грузии представляется ему как бы одухотворенной величественной песней поэтов прошлого, сотрясаемой мощным биением их вечно живого сердца.

Следует, однако, заметить, что поэтические видения не заслонили от Заболоцкого живого облика современной Грузии. В таких стихах, как «Горийская симфония», «Храмгэс», «В колхозе «Шрома» и других, поэт с искренним вдохновением воспел строительство новой жизни в молодой республике.

Над Курою огромные звезды горят,  
Словно воины, встали вокруг кипарисы,  
И залитые светом кварталы Тбилиси  
О грядущих веках до утра говорят.

Единство творческих убеждений и задач прочно связало Заболоцкого с лучшими поэтами Грузии. Не удивительно, что русский поэт нашел родственные ему образы и настроения не только в грузинской классике, но и в творчестве своих сверстников — представителей грузинской советской поэзии. Заболоцкий был дружен со многими грузинскими писателями, переводил произведения поэтов как маститых, так и молодых. Однако у него, как и у Н. Тихонова, имелись и свои особые привязанности в грузинской поэзии.

Если для автора «Стихов о Кахетии» наиболее близким из современных мастеров грузинского стиха оказался Георгий Леонидзе, то для Заболоцкого таким поэтом стал Симон Чиковани.

«Поэт Симон Чиковани, — вспоминал Н. Заболоцкий, — еще в довоенное время познакомил меня с Грузией, ее историей и культурой и привлек мое внимание к ее литературе. Он редактировал мой перевод поэмы Руставели и в течение многих лет помогал мне своими советами и многочисленными указаниями...»

За два с лишним десятилетия тесной дружбы этих двух писателей многое сблизило их поэзию. Здесь можно говорить и об однородных идейно-тематических задачах, и о перекличке в утверждении тех или иных эстетических принципов, и о самой направленности поэтической мысли, и о сродстве соответствующих образов и приемов.

В творчестве Заболоцкого и Симона Чиковани можно выделить стихотворения, которые были созданы на основе одних и тех же впечатлений. Здесь, в некоторой степени, сказался и преднамеренный умысел поэтов. Так, например, «Горийская симфония» Заболоцкого и «Гори» Чиковани были написаны после своеобразной творческой договоренности, заключенной летом 1936 года, во время поездки в Гори вместе с известным украинским поэтом М. Бажаном (Бажан тогда написал свою «Горийскую крепость»).

Несомненно также, что оба стихотворения вдохновлены не только одними и теми же внешними впечатлениями, но и, что гораздо важнее, одинаково волнующим, радостным переживанием виденного, единым чувством глубокой любви и преданности к воспеваемой ими древней и вечно молодой земле.

То же можно сказать и о написанных спустя двадцать лет стихах Н. Заболоцкого «Гомборский лес» и С. Чиковани «Переход через Гомбори», в которых показаны неповторимые черты кахетинской осени.

И хотя сам внешний зрительный материал здесь требовал однородных форм выражения, знаменательно, что оба поэта дали сходное по своему принципу, живописное решение поэтической задачи.

Как «Гомборский лес» Заболоцкого, так и «Переход через Гомбори» Чиковани, это прежде всего живописные полотна, полные ярких красок, переливов, причудливых сочетаний осенних цветов. У обоих поэтов эта буйная живопись осени естественно переходит в музыку, в могучую симфонию природы.

Вообще в творчестве Чиковани и Заболоцкого мы находим ряд точек соприкосновения.

Дело в том, что каждый из них в истории своей родной литературы является продолжателем традиций, которые во многом близки друг другу по самой своей сущности. Мы имеем в виду такие черты их творчества, как известный интеллектуализм — особое стремление проникнуть в сущность вещей и способность в простом, обыденном явлении окружающего бытия или личной биографии видеть большое, существенное, значительное. В

лучших стихах Заболоцкого и Чиковани поэтическое слово, форма являются лишь средством для исчерпывающего выражения богатого и порой весьма сложного содержания. Но и сами средства выражения у этих поэтов в известном смысле родственны.

Как для Заболоцкого, так и для Чиковани излюбленной формой воплощения поэтической мысли является живопись, язык «звонящей краски слов».

В этом отношении известная строфа Заболоцкого:

Любите живопись, поэты,  
Лишь ей, единственной, дано  
Души изменчивой приметы  
Переносить на полотно.

одинаково характеризует эстетические убеждения обоих поэтов так же, как и слова С. Чиковани:

Земли красою зримой я пленен,  
Листком в росе, яйцом в гнезде  
голубки —

в равной мере выражают их творческие привязанности.

Однако следует тут же оговорить, что при всем отмеченном нами родстве, Заболоцкий и Чиковани по их темпераменту и поэтической манере очень разные поэты. Их творческие индивидуальности во многом резко отличны и даже противоположны друг другу.

Хотя Николай Заболоцкий, как и Симон Чиковани, внутренне глубоко драматичный поэт, его творчество больше отмечено тяготением к гармоничности, к величественной простоте и уравновешенности, что находит проявление в самой форме его стиха. Логическая ясность, завершенность мысли переходит в классическую четкость и рельефность образов. В «живописи» Заболоцкого каждая краска присутствует в своем чистом виде, каждый контур выписан со строгой точностью.

Поэтический мир Симона Чиковани отмечен печатью внутренней взбудораженности. Его мысли, чувства, поэтические образы и видения очень редко предстают перед нами в до конца оформленном виде. В стихе Чиковани как бы зафиксирован сам процесс поэтического мышления. И поэтому его образы очень часто созданы из фрагментов, отдельных резких, порой нервных мазков.

«Живопись» грузинского поэта

больше подвластна переменчивости настроений и порывов художника.

Указанная противоположность, прежде всего, обусловлена индивидуальными особенностями этих поэтов.

Однако в известном смысле на их формировании отразились явления и более общего порядка. Отличие в эмоциональном складе и в живописной манере двух художников в какой-то мере оказалось соразмерным разнице, существующей и между теми объективными впечатлениями, под воздействием которых сложился творческий характер каждого из них.

И в самом деле, поэзия Н. Заболоцкого точно впитала дыхание бескрайних просторов и раздолья русских полей. Родной пейзаж вошел в его стих с его величественной строгостью и спокойными линиями. В звучании его песни слышатся те звонкие, чистые, четкие и торжественные звуки севера, которые рождаются в кристально-прозрачном воздухе заснеженных российских равнин.

Однако творчество русского поэта оказалось чуждым излишней замкнутости. Напротив, Заболоцкий проявил удивительную чуткость и к тем новым звукам и мелодиям, которые услышал в пении грузинских стремительных рек; он не остался слеп к ярким и теплым краскам «изумрудных груд» гор и «бирюзового» неба Грузии.

Правда, внутренний мир Николая Заболоцкого, его человеческая природа, темперамент и вкусы всю жизнь выдавали в нем истинного сына Севера. Однако, по словам того же Симона Чиковани: «...поэт такого душевного склада, с помощью своих грузинских друзей, сильно полюбил нравы и обычаи грузинского народа, грузинскую величественную природу и особый, народный, артистический дух грузинского гостеприимства».

Николай Заболоцкий особенно сблизился с Грузией и с грузинскими поэтами в последнее десятилетие своей жизни, когда он почти каждый год по несколько месяцев жил в Тбилиси или в Сагурамо, ездил в Кахетию, в Гори и на Черноморское побережье.

В эти годы поэзия Н. Заболоцкого претерпела заметную эволюцию. В предисловии к книге его избранных стихов В. Орлов справедливо пишет

об этом: «Последнее десятилетие творческой работы Заболоцкого было ознаменовано новыми настойчивыми поисками, важными открытиями и большими достижениями. Он сильно раздвинул границы своего творческого мира, еще больше отточил свое мастерство. Внимание к «живой душе» человека все сильнее завладевало поэтом. Опыт трудных и героических лет не прошел для него даром. Его все больше тянуло разгадывать уже не тайны природы, а «тайны» человеческой души и сердца»<sup>1</sup>.

Можно сказать, что для Заболоцкого не прошел даром и тот богатый жизненный и творческий опыт, который он приобрел в пору своего пребывания в Грузии.

В «грузинских» стихах тех лет все отчетливее звучат новые для него интонации и мотивы, в какой-то мере задающие тон всему творчеству Заболоцкого.

Мироощущение автора этих стихов, который когда-то в своих «столбцах» изображал мир населенным темными и уродливыми фантомами, поражает своей светлой жизнерадостностью и мужественным оптимизмом.

Уже в стихотворении «Горийская симфония», написанном в 1936 году, Заболоцкий, впервые увидевший горы и небо Грузии, обратил к ним слова восторга и ликования:

Взойди на холм, прислушайся к дыханию  
Камней и трав, и, сдерживая дрожь,  
Из сердца вырвавшийся гимн  
существованию,  
Счастливый, ты невольно запоешь!

В дальнейшем, особенно в послевоенные годы, эти жизнеутверждающие мотивы еще больше укрепились и стали доминирующими в «грузинских» стихах Заболоцкого.

Действительность Грузии обусловила в его поэзии не только возникновение известных настроений, но и создание специфических образов.

В «грузинских» стихах поэта нашло свое блестящее осуществление, характерное для всего его творчества тяготение к эпическому началу. В таких стихотворениях, как «Горийская симфония», «Храмгэс», «Башня Грими», «Ночь в Пасанаури», Заболоцкий создает целый ряд глубоко реалистических образов и картин, в ко-

<sup>1</sup> Н. Заболоцкий. Стихотворения. ГИХЛ, 1959 г., стр. 13.



торых находит свое воплощение как героический дух истории, так и настоящее грузинского народа.

Эти глубоко эпические образы почти совершенно свободны от умозрительности и нарочитой гиперболизации, присущих некоторым ранним произведениям поэта. В приведенных выше стихах особенно ощутимо благотворное воздействие на Заболоцкого не только природы и быта Грузии, но и известных традиций грузинской поэзии.

Мы уже говорили о близости Заболоцкого к Важа Пшавела, к его своеобразному поэтическому «пантеизму». В стихотворениях Заболоцкого последних лет эта близость сказывается не только в области миропонимания, но и в особенностях поэтического мышления и отображения действительности. В названных нами произведениях Заболоцкого поэтические образы при всей их эпической величавости согреты глубоким лиризмом, что делает их близкими и особенно дорогими для читателя.

Язык Заболоцкого, очистившись от налета книжности, приобретает ту неподдельную искренность и высокую простоту, которая свидетельствует о приближении его поэтического вдохновения к народным источникам. Заболоцкий часто черпает поэтический материал для своих метафор и сравнений из грузинского фольклора, лучшие образцы которого для него к этому времени становятся столь же близкими, как и творения грузинской классической поэзии.

Это приобщение к фольклорной стихии придает языку поэзии Заболоцкого ту человеческую теплоту и задушевность, которые становятся

существенными свойствами его стиха.

Правда, голос Заболоцкого по-прежнему отличается мужественной сдержанностью, однако в «грузинских» стихах он звучит заметно теплее и проникновеннее.

Даже в своих наиболее «натурфилософских» стихах этих лет Заболоцкий чужд холодной созерцательности; он волнует нас страстной, деятельной любовью ко всему живому. Поэтический язык Заболоцкого, освободившись от несколько высокопарной торжественности, наполняется живым трепетом чувства.

У Николая Заболоцкого есть одно стихотворение, в котором он передает свои мысли и ощущения в момент перелета через Кавказский хребет. Стихотворение написано после войны. Спустя много лет поэт вновь направляется в Грузию. Он весь объят предчувствием счастья («И вскрикнула душа, узнав тебя, Кавказ!»). Но переживания, о которых говорится в этом стихотворении, совершенно не похожи на то, что испытывает любознательный путешественник, отправляясь в чужую страну. Это, скорее, чувства человека, после долгой разлуки возвращающегося в родной, любимый край.

И в самом деле, Грузия для Заболоцкого стала второй родиной, взлелеявшей его светлые мечты, вызвавшей к жизни новые образы его поэзии.

Имя Николая Заболоцкого — большого поэта и человека, так же, как имена других замечательных представителей русской поэзии старшего поколения, свершивших истинный творческий подвиг во имя этой любви, будет всегда чтить грузинский народ.

Иллюстрации худ. Э. д. Мосева

Технический редактор М. Соселия

Подписано к печати 6 сентября 1960 г. 6 печ. листов

Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Заказ № 163/734

Тираж 2.500

УЭ 03585

Цен 4 руб.

ჟურნალი „ლიტერატურნაია გრუზია“  
(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის გამომცემლობა „ბარია ვოსტოკა“

Типография «Заря Востока» им. А. Ф. Мясникова издательства  
ЦК КП Грузии, Тбилиси, пр. Руставели, № 42,

6 / 233

